

Игорь Гельбах



Музейная
крыса

роман

Игорь Гельбах

Музейная крыса

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30081465

SelfPub; 2018

ISBN 978-5-9691-1713-6

Аннотация

Новый роман Игоря Гельбаха рассказывает о драматических событиях последних десятилетий в жизни нескольких петербургских семей из мира театра, живописи и коллекционирования произведений искусства. В центре повествования – отношения братьев, принадлежащих к разным ветвям семьи Стэнов. Петербуржец Николай Стэн рассказывает о себе, о семье и скитаниях его старшего брата и друга, художника Андрея Стэна, чей жизненный путь оборвался в Австралии. Усилия Николая по возвращению картин брата в Россию оборачиваются рискованным для его семьи решением, не принять которое он не может.

Содержание

Информация от издательства	4
Часть первая	6
Глава первая. У Стэнов	6
Глава вторая. Анри К	34
Глава третья. Мой отец	49
Глава четвертая. На Петроградской	60
Глава пятая. Живой труп	75
Глава шестая. Беседы с отцом	79
Глава седьмая. Агата	86
Глава восьмая. Любимые предметы	95
Глава девятая. Елена Толли-Толле	98
Глава десятая. Нюрнбергские законы	103
Глава одиннадцатая. В мастерской Андрея	113
Глава двенадцатая. Мои университеты	122
Конец ознакомительного фрагмента.	147

Игорь Гельбах. Музейная крыса

*О, холодная ясность в чертоге рассвета,
Мерный грохот валов – голоса океана.*

Л. Мартынов

Информация от издательства

И. Гельбах

Музейная крыса: роман / Игорь Гельбах. – М.: Время, 2018. – (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1713-6

Новый роман Игоря Гельбаха рассказывает о драматических событиях последних десятилетий в жизни нескольких петербургских семей из мира театра, живописи и коллекционирования произведений искусства. В центре повествования – отношения братьев, принадлежащих к разным ветвям семьи Стэнов. Петербуржец Николай Стэн рассказывает о себе, о семье и скитаниях его старшего брата и друга, художника Андрея Стэна, чей жизненный путь оборвался в Австралии. Усилия Николая по возвращению картин брата в Россию оборачиваются рискованным для его семьи решением,

не принять которое он не может. Развитие событий приводит героев романа в самые разные места и страны, создавая насыщенную яркими и неожиданными деталями панораму происходящего.

© И. Гельбах, 2018

© Состав, оформление, «Время», 2018

Часть первая

Глава первая. У Стэнов

1

На стене против письменного стола в кабинете моего деда висит морской пейзаж. Дело идет к вечеру, и свет, проникающий сквозь большие окна на четвертом этаже дома на Большой Конюшенной, отражается от края старинной позолоченной рамы и словно укрывает поверхность холста призрачной, незримой вуалью. Холст невелик – 40х32 см. Висят на стенах кабинета и две старые, в темных рамках начала восемнадцатого века английские гравюры, выполненные зеленоватой, цвета морской волны тушью.

На знакомой мне с детства картине ван де Вельде Младшего изображен английский парусник, попавший в грозу, – часть парусов убрана, часть сорвана налетевшим шквалом. Судно пытается уйти из прибрежной полосы. В памяти остаются реющий на мачте штандарт и тень судна на возвышающейся, с белыми гребешками волне на переднем плане. На заднем плане, ближе к береговой полосе, на фоне высоко-

го холма терпит бедствие другое судно. Ветер сорвал с него паруса, и волны, похоже, несут его к берегу. Водяные горы, опасно накренившееся судно, отданное на волю разбушевавшейся стихии, проходящая стороной гроза и темно-зеленая вздыбленная масса воды, движение и освещение облаков, присутствие голубовато-фиолетовых обертонов и серо-розовых зон, высветляющихся к левому краю картины, – все передано легко, атмосферично и как бы безыскусно, но абсолютно виртуозно.

Семейная легенда утверждает, что заказчик полотна – владелец судна, чудом избежавшего кораблекрушения.

«In Londen, 1674» – написано кистью на обороте оригинального холста. Там же и подпись художника – Willem van de Velde de Jonge. Художнику в пору написания картины было чуть более сорока лет. Жил он в Гринвиче, на правом берегу Темзы, в просторном особняке с огромными окнами, из которых легко было наблюдать за проходившими парусниками.

Портрет Виллема Младшего, написанный Людвигом ван дер Гельстом незадолго до переезда де Вельде из Голландии в Англию в 1673 году, доносит до зрителя присущее облику Виллема Младшего гармоничное сочетание жизненных сил с ясным осознанием целей и намерений королевского живописца. Еще при жизни его называли «Рафаэлем морской живописи».

Прошлое Стэнов, как это уже, наверное, ясно, довольно почтенное, и очертания его расплываются в балтийском тумане.

Мой дед, профессор-филолог А. А. Стэн – фигура для меня не совсем ясная и даже несколько загадочная. Я хорошо помню его желтые, аккуратно остриженные ногти и сопутствовавший его появлению запах табака. Голос его казался мне скрипучим, он покашливал. Иногда он переходил на немецкий. Одной из его любимых фраз была: «Dieser Mann ist ein Narr»¹, ею он иногда завершал дискуссию о том или ином персонаже. Нельзя сказать, что использовал он ее слишком часто, но фраза эта означала, что все разговоры об этом человеке прекращались.

Известно, что дед в совершенстве владел старыми и новыми языками северных стран и что несколько его книг по скандинавско-германской мифологии, опубликованных в конце двадцатых – начале тридцатых годов, по сию пору принадлежат к списку цитируемых историками культуры источников. Считалось, что никто лучше него не знает деталей жизни Вотана, Одина и дюжины других богов Валгаллы. В познаниях его, как это стало ясно со временем, нуждались

¹ Этот человек глупец (нем.).

не только студенты и историки, но иногда и военные аналитики, пытавшиеся разгадать планы немецких наступлений и контрударов, зашифрованных именами северных богов.

Говаривали, кстати, что познания довели А. А. Стэна до сумасшедшего дома, что, разумеется, означает лишь то, что вокруг моего деда хватало недоброжелателей. На самом же деле произошло вот что: в середине тридцатых годов его пригласили в Академию Генштаба в Москве прочесть лекцию о воззрениях викингов на искусство войны. Вскоре после этого дед по представлению Старокопытина, о котором речь пойдет ниже, был направлен в институт Ганнушкина, где вместе с бежавшим из Германии психоаналитиком еврейского происхождения принял участие в составлении психологических портретов персонажей правящей немецкой верхушки с приложением, в котором описывались возможные модели поведения этих лиц в кризисных ситуациях.

Участие деда, как рассказывала моя тетка Агата, выразилось в основном в полировке или, скорее, уточнении перевода документа на русский с учетом специфики психоаналитической терминологии, постепенно, со времен изгнания Троцкого, оказавшейся не слишком уместной и приемлемой в России начала и середины тридцатых годов и оттого вытесненной в сферу подсознательного вместе с самим учением Фрейда.

Отдельного рассказа, как утверждала Агата, заслуживали

и его поиски верного и уместного перевода слов, связанных с понятием *das Schicksal* (судьба, участь, рок, доля; слова эти не раз употреблял Сталин), поскольку немецкий психоаналитик использовал в своей работе и иные, синонимически близкие к *das Schicksal* слова: *der Tyche* – судьба-случай, *das Geschick* – судьба-сноровка, *das Los* – судьба-жеребий, *das Verhängnis* – судьба-рок, и, наконец, *der Moira* – судьба в самом что ни есть античном смысле, символизируемая пряхей, что плетут Мойры, три сестры, дочери Ананке от Зевса: Лахесис, назначающая человеку жребий до его рождения, Клото, прядущая нить жизни, и Атропос, обрезающая ее в назначенный час. Сама же Ананке есть божество необходимости и неизбежности, персонификация рока, судьбы и предопределенности.

Коснемся, кстати, и еще одного интересного вопроса, связанного с судьбой немецкого психоаналитика. Официальная версия того, что произошло, когда разразившаяся через несколько лет война вплотную приблизилась к Москве, состоит в следующем: в столице началась эвакуация, уехали из города и сотрудники института Ганнушкина, а о психоаналитике забыли, имени его не оказалось в списке эвакуируемых сотрудников. Беглец и его жена, предполагая, что немцы войдут в Москву через несколько дней, покончили с собой во внезапно опустевшем доме.

Как правильно описать судьбу психоаналитика и его су-

пруги? Что же произошло на самом деле? И было ли то, что случилось, связано с судьбой этого человека – das Schicksal (судьба, участь, рок, доля), – да и существует ли судьба вообще?

Следует при этом заметить, что сам дед, согласно одному из поздних рассказов Агаты, полагал, что психоаналитика и его жену намеренно отделили от коллег по институту Ганнушкина и оставили в Москве с тем, чтобы от него избавиться, ибо написанные им психологические портреты нацистской верхушки ясно демонстрировали качества того человеческого материала, который поставляет «вождей».

Возможно также, говорил дед, что случившееся с немецким психоаналитиком и его женой объясняется тем, что кое-кто из верхушки захотел воспользоваться подходящей ситуацией и не только избавиться от него, но и «наложить лапу» (тут я повторяю выражение Агаты) на вывезенную им из Германии богатейшую библиотеку, коллекцию французской эротической бронзы и роскошную мебель.

– В 1941 году ему было пятьдесят пять, – сказал дед Агате, – он был ветеран Первой мировой с двумя Железными крестами. Его жена-немка была жесткая и сильная личность, под стать ему, я их живо помню, и поверь мне, – продолжал он, – такие люди не уходят из жизни по своей воле или за просто так. Сначала, после прихода Гитлера к власти, он бежал из Берлина в Швейцарию, откуда позднее уехал в Москву. Идея о «грандиозном эксперименте» была в те

годы на Западе в большом ходу, но какими коврижками завлекли его, я не знаю. После начала репрессий он, конечно же, понял, кто нами управляет, – для этого достаточно было послушать, в чем эти управленцы обвиняли друг друга на московских процессах. Конечно, – добавил он именно тем тоном и в той же манере, которой, по утверждению Агаты, вещал с кафедры, – этот человек, а он был еврей, ощутил всплеск стихийного или, так сказать, народного антисемитизма, случившийся сразу после начала войны, но до прямых погромов дело не дошло, да и не могло дойти, ведь это означало бы вызов существующей власти, чего эта власть, естественно, допустить не могла, – добавил дед, возвращаясь к нормальной тональности, – мерзавцы, такие как Старокопытин, – продолжал он, чуть понизив голос, – понимали многие вещи каким-то инстинктом, и понимали их очень хорошо.

Сказал он это совершенно спокойно, рассказывала Агата, подобно врачу, сообщающему тяжело больному пациенту, что у того всего лишь легкое недомогание. Оставалось только догадываться, добавила она, кто именно из высших чинов мог быть заинтересован в приобретении коллекции отлитых в бронзе французских эротических фигурок и мебели, выдержанной в духе ар-нуво.

Что касается семьи моего деда, то вместе с бабкой и моим отцом, которому в год начала войны исполнилось четырнадцать, они выжили благодаря специальному усиленному

пайку, выдававшемуся от штаба округа. Работал дед и в Радиокомитете, где переводил на немецкий тексты пропагандистских передач, которые велись с линии фронта. Возвращаясь домой из Радиокомитета, А. А. Стэн время от времени заходил к сестре, которой он всегда пытался помочь. Сестра деду и ее муж погибли во время артобстрела зимой 1942 года. Их дети были вывезены в эвакуацию и по окончании войны остались жить в Средней Азии.

Воспоминания учеников А. А. Стэна, зачитывавших переведенные дедом на немецкий тексты из брошенных окопов на ничейной земле, были опубликованы в сборнике воспоминаний людей, участвовавших в обороне города. Чтецом стал и мой отец вскоре после того, как был призван и попал на фронт. Из его рассказов запомнились мне белый ослепляющий снег, мороз, патефоны и пластинки с песнями; особенно запала ему в душу песня «Die Fischerin vom Bodensee»², поскольку была связана с памятью о ранении; вспоминал он и тишину после окончания музыкальных пауз, и то, как звучали дребезжащие голоса чтецов на фоне возобновлявшихся звуков перестрелки.

После ранения под Кенигсбергом и недолгого пребывания в госпитале сын А. А. Стэна вернулся в строй и вскоре стал курсантом Военно-морской медицинской академии. Его курсантское удостоверение с фотографией молодого человека, внешне чем-то схожего со мной, хранится в правом

² Рыбачка с Боденского озера (нем.).

ящике моего письменного стола.

Фотопортрет деда в сборнике посвященных его памяти академических трудов представляет его крупным пожилым мужчиной с большим, отлично вылепленным лбом и светло-серыми, почти прозрачными глазами за стеклами очков в тонкой металлической оправе. Его коротко подстриженная седая бородка естественно завершает образ, характерный для уроженцев Севера. Он дожил до восьмидесяти и ничем особенным мне не запомнился, разве что тем, как рука его тянулась за чашкой кофе, оставляя позади крахмальную манжету рубашки с янтарными запонками, – возможно, поэтому рука его казалась мне в детстве бесконечно длинной. Обычно дед был погружен в себя, молчалив, любил кофе и однажды на моей памяти, обратившись к моей бабке Аде, с тоской вспомнил о голландских сигарах. Раньше их запас вместе с запасом сигарет для бабки время от времени восполнялся его возвращавшимися из зарубежных командировок знакомыми; ароматы появившихся в начале шестидесятых годов кубинских сигар казались ему несколько чрезмерными. Помимо сигар дед любил хороший портвейн. Красно-речивым он, как говорили, становился на кафедре, когда его подстриженная бородка взлетала и опускалась в согласии с развиваемыми им положениями. В одной из статей сборника упоминается и собранная им небольшая коллекция живописи, и то обстоятельство, что тишину своего кабинета пред-

почитал он всему остальному на свете.

Его жена Ада была моложе деда на десять лет и родила ему двоих детей, Агату и Александра, моего отца. Я хорошо помню бабу, ее темные густые кудри и почти прозрачную розоватую кожу, летящий профиль и большие влажные карие глаза, светлые строгие шелковые кофты и длинные темные юбки. Иногда бабушка курила сигареты из табака с медовой примесью, вставленные в светлый мундштук слоновой кости. Моя тетка Агата утверждала, что сигареты были египетские.

Ада была дочерью еврейского провизора из Вильны. За несколько лет до начала Первой мировой войны провизор решил покинуть Российскую империю и уехал с семьей в Хайфу, где собирался поселиться под горой Кармель, в доме, который он приобрел во время своего путешествия в Палестину в 1910 году. Ада, однако, решила в Палестину не ехать, бежала из дома, крестилась и вышла замуж за польского композитора, чьими произведениями и антропософскими воззрениями она увлеклась еще с юности. Она получила приличное музыкальное образование и помимо польского и русского свободно изъяснялась по-французски и по-немецки.

– Думаю, она перешла в католичество, чтобы сочетаться браком со своим польским избранником, – пояснила Агата.

Впрочем, по мнению Агаты, само стремление Ады вый-

ти замуж могло произойти не только от увлечения будущим мужем или его идеями, но и от стремления к независимости от того семейного уклада, что был ей знаком. И разумеется, ее будущий польский муж казался Аде настолько привлекательным, что она действительно сбежала из дому, приняла католичество и обвенчалась со своим возлюбленным. Ей нравилось глядеть в его ясные светлые глаза, утопавшие в тумане их собственного свечения, ее привлекали его светлые, аккуратно подстриженные усы, борода и правильные черты лица. К тому же она понимала, что муж боготворит ее, она физически ощущала исходившие от него флюиды обожания. Вскоре они оказались в Петербурге, куда их привело ощущение небывалого творческого подъема, охватившее ее мужа Витольда после отречения Николая Второго и Февральской революции.

Сразу же после октябрьского переворота Ада, благодаря случайной встрече с одним из уроженцев Вильно, начала работать переводчицей в наркомате Троцкого, и молодая семья вселилась в небольшую квартиру в доме на Большой Конюшенной. Все время, свободное от лихорадочного заполнения нотами листов партитуры, муж ее проводил в Петербургской консерватории у профессора А. К. Глазунова, ради встреч с которым он, собственно, и приехал в Петербург. За окном лежала покрытая снегом улица с голыми черными деревьями, стопки листов нотной бумаги с партитурой балета-мистерии по либретто, написанному самим Витольдом, множи-

лись и постепенно перемещались с подоконника на письменный стол, а оттуда на черную крышку рояля, он же сидел над ними днями и ночами, не доверяя переписчикам, что в конце концов привело его к физическому и нервному истощению.

Зима выдалась чрезвычайно холодной. В начале февраля новое правительство и его департаменты переехали из Петрограда в Москву, и Ада перешла на работу в Петросовет. Вскоре Витольд тяжело заболел и в конце февраля умер от инфлюэнцы. «Он сгорел», – написала Ада в отосланном с оказией письме своей виленской подруге Агате.

Позднее она однажды сравнила события того черно-белого времени с попыткой выполнения «петли Нестерова» аэропланом, который не выдержал напряжения и развалился в воздухе.

Организацией похорон ее мужа занялся сотрудник Петросовета, человек по фамилии Старокопытин. Уступив требованию Ады, он распорядился отвезти гроб с телом покойного на Выборгское римско-католическое кладбище, где его похоронили в могиле, выкопанной в промерзшей земле. Когда гроб опустили в могилу и по крышке его застучали комья холодного грунта, она поняла, что пришедшие на похороны знакомые вскоре разойдутся и она останется одна. «Смерть разделяет, – подумала она, – как и вера». И ей вдруг пришло на ум, что следовало бы подумать о возможности отъезда в Хайфу. Но в это мгновение к небольшой группе лю-

дей, провожавших в последний путь ее мужа, присоединилась пара, за минуту до этого внезапно появившаяся в кладбищенских воротах и быстро направившаяся к еще не доверху засыпанной могиле. Когда эти люди подошли ближе, она увидела знакомое, дорогое для нее лицо виленской подруги Агаты, которую сопровождал ее муж Сташек.

Оказалось, что они прибыли в Петроград для разрешения сложных финансовых обстоятельств, связанных с облигациями «Займа Свободы», выпущенными Временным правительством. Декретом СНК от 16 февраля 1918 года облигации мелких номиналов этого займа были приняты к обращению в качестве денежных знаков, и Сташек планировал превратить содержимое чемодана, набитого облигациями, которые он в свое время скупил за бесценок, во что-то менее эфемерное. По настоятельной просьбе Ады они поселились у нее и тем самым воспрепятствовали намерениям одного из ее коллег по работе в Петросовете переехать в небольшую квартиру, где она жила. Итак, Агата и Сташек поселились у Ады, и Агата не оставляла ее одну большую часть зимы.

Поначалу Сташек собирался приобрести драгоценности у местных ювелиров, но ювелиры требовали твердую валюту, и оттого Сташеку пришлось изменить направление своих усилий: теперь он пробовал скупать для начала живопись и антиквариат удобного для транспортировки размера. Несколько раз он предлагал Аде уехать вместе с ними в Вильно, клятвенно обещая помочь ей добраться до Хайфы,

как только война на Ближнем Востоке окончится.

Шло время, Ада постепенно приходила в себя после смерти мужа, время от времени вспоминала о Хайфе, однако сама идея возвращения в родную семью ее никак не прельщала, она не желала даже и думать о родителях, их понимающих, всепрощающих взглядах, вздохах сочувствия, вопросах, своих вынужденных рассказах и подобном, сопутствующем любому возвращению, аккомпанементе. И вместе с тем ничего, решительно ничего не удерживало ее в Петрограде; возможно, она и покинула бы его, если бы не встреча с виленской подругой, а затем уже и знакомство с соседом по лестничной площадке доцентом А. А. Стэнном.

Попробуем объяснить... Аде нравилось само название города, в самом этом слове – Хайфа – звучал, казалось, и реверберировал юг, нота «фа», солнце и бесконечная морская гладь, и все это рикошетом, по касательной (а именно такой способ установления связей был для нее характерен), наводило на мысли о Майорке, где однажды провел зиму Шопен, чьи баллады она играла на укутанном в попону рояле. Более того, в один из темных и выжженных январских дней незадолго до своей смерти муж обещал ей, что после завершения работы над его *opus magnum* они отправятся в Вальдемоссу. Собственно, именно этот рояль и был причиной того, что Ада и ее муж оказались в оставленной хозяином квартире.

После Октябрьского переворота в городе начались грабежи и повальное пьянство, а матросам, наводившим революционный порядок в серо-синей мгле холодного и пьяного города, нравилось врыватья в особняки и выталкивать рояли с антресолей на булыжник и брусчатку мостовых.

Рояль в квартирке на Большой Конюшенной был именно тем, что хоть как-то примиряло Аду с происходившим вокруг. И если до этого она знала, что присутствовавший в ее жизни и в жизни ее мужа элемент безумия совершенно естественно связан с их собственным выбором – при желании они могли бы построить свою жизнь иначе, – то теперь никакой возможности не то что вернуться в какую-то более или менее нормальную жизнь, а и просто увидеть ее не было.

Одним из немногих материальных свидетельств этой ушедшей в никуда жизни был укрытый попоной «Бехштейн», всегда ожидавший, казалось, приближения Ады, обнаружившей в брошенной квартире еще и богатую коллекцию нот для фортепиано. Лежали на полках и черновые наброски нескольких фортепианных пьес, свидетельствовавшие о современных вкусах и новаторских устремлениях ученика Глазунова, в один прекрасный момент покинувшего эту небольшую, но уютную квартирку и, после недолгого пребывания в Выборге, уехавшего в Финляндию, а оттуда в Париж, где музыкальная судьба его не сложилась из-за ссоры со Стравинским. Позднее, к концу тридцатых годов, ему пришлось отправиться за океан, в Голливуд, где он оконча-

тельно сформировался как композитор и написал музыку к ряду известных фильмов.

– Мы искали квартиру с роялем, – объяснила Ада причину своего появления в доме на Большой Конюшенной Александру Александровичу, проживавшему вместе с родителями в соседней квартире, – и один из знакомых моего мужа предложил нам пожить здесь, в его квартире, поскольку собирался уехать в Выборг. А в этой квартире стоит «Бехштейн» с замечательным мягким звуком, на нем удобно играть Шопена.

Их первая беседа связана была с поисками электромонтера – в квартире, где жили Ада, Агата и Сташек, погас свет.

А. А. Стэн вслушался в звуки ее голоса, что было профессиональной привычкой филолога, – за польским акцентом его соседки скрывалось что-то еще... «Похоже, это отзвук еврейской крови», – подумал он, прислушиваясь к ее дыханию; на улице было еще светло из-за снега, но на темных лестничных площадках света не доставало – лампы были разбиты.

Выяснилось, что в квартире, где жила Ада, перегорела фарфоровая электропробка с металлическим ободком и ее следует заменить, что и было сделано немедленно – по счастливой случайности в чулане у А. А. Стэна нашлась картонная коробка с запасными пробками. Когда в квартире, где

недавно скончался польско-литовский композитор, вспыхнул свет, А. А. Стэн, спустившись с табурета, посмотрел в лицо Аде. При этом он ощутил, что вибрации и обертона в голосе его собеседницы волнуют его, он вдруг почувствовал себя моложе. Ему было двадцать восемь в ту пору, и он полагал себя зрелым, сложившимся человеком.

– Так это вы играете Шопена? – спросил он, имея в виду те пьесы, отрывки которых он иногда слышал, поднимаясь по лестнице и открывая дверь в квартиру, где жил один.

Его родители с недавних пор жили с его сестрой на Петроградской стороне. В то время звуки фортепьянной музыки были слышны нечасто, им на смену пришла музыка духовых оркестров. Проходя по городу, он не единожды видел, как с верхних этажей летели вниз, на булыжник рояли, и каждый раз предсмертный, в восемь октав вопль упавшего инструмента заставлял его вздрагивать. Он любил музыку и был знаком с бежавшим за границу обитателем соседней квартиры. Литература, надо сказать, интересовала его меньше, чем музыка, которую он почитал метаязыком. Несмотря на возраст, его отношения с женщинами исчерпывались несколькими довольно банальными историями, так он оценивал их сам в своих обращенных к Агате уже после смерти Ады признаниях. «В них отсутствовала музыка, все исчерпывалось несколькими словами», – объяснял он.

Что до событий, создавших фон того серо-белого дня, что

познакомил его с Адой, то надо сказать, что А. А. Стэн, рожденный в городе, именуемом окном в Европу, не до конца понимал, кто такие и чего хотят пришедшие к власти в результате Октябрьского переворота люди, руководители которых вскоре покинули Петроград и переехали в Москву.

Агата и Сташек прожили в квартире с роялем до осени, и когда их подготовка к отъезду приобрела наконец оттенок неотвратимости, Сташек в последний раз спросил у Ады, собирается ли она вернуться в Вильно, который к тому времени стал польским городом, с тем чтобы жить там или направиться оттуда в Хайфу, где жили ее родители, братья и сестры. В ответ Ада сообщила Сташеку, что остается в Петрограде с А. А. Стэном. По счастью, Сташек и Агата сумели выехать из Петрограда и пересечь русскую границу в середине сентября 1918 года, за несколько дней до принятия декрета «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения». Прошло еще несколько недель, и 5 октября 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений».

А. А. Стэн получил благословение родителей на вступление в брак с Адой лишь через год после их первого разговора на полутемной лестнице. Всему виной были ее дыхание, голос и акцент, которые усиливали исходившее от нее ощущение несоответствия ее существования обстоятельствам места и времени; все это было странно и неожиданно: одинокая, без друзей и связей пианистка оказалась в Петрограде именно в то время, когда многие весьма достойные люди бежали из города.

Еще в первую свою встречу с Адой на лестничной площадке А. А. Стэн прочитал в ее взгляде рассказ о чужой жизни, которая никак не вращалась в эту среду, в эти камни и низкие небеса, и, возможно, именно по этой причине ему захотелось эту жизнь защитить, и он первым делом заговорил с Адой по-французски – немецкий язык в ту пору был бы ошибочным выбором. Итак, он заговорил с нею по-французски; в юности он не раз отдыхал с родителями в Вильфранш-сюр-Мер, и возможность поговорить на французском всегда его радовала. Беседы на иностранном языке сразу же отвлекали от того, что происходило за окном, или хотя бы предоставляли возможность иных суждений. Более того, они еще и создавали другое, отдельное пространство для А. А. Стэна и Ады.

Объяснить все это его родителям было не очень просто, но тут помогла музыка, она доносилась до них через стену с того самого дня, когда они вернулись на Большую Конюшенную от его сестры, проживавшей с мужем и дочерью на Петроградской стороне. Родители не желали становиться в тягость сестре А. А. Стэна и, несмотря на все ее заверения в противном, вернулись к себе домой, когда страшная и тяжелая зима окончилась. К тому времени, когда они в конце концов дали свое благословение на брак А. А. Стэна и Ады, снова началась зима. Ада уже уволилась из Петросовета и теперь работала аккомпаниатором в училище при консерватории, с директором которого А. А. Стэн был знаком еще со времен учебы в Петришуле, славившейся уровнем преподавания иностранных языков.

– Конечно, – сказала Агата, – с точки зрения родителей отца это был мезальянс. Поначалу их ужаснула сама идея брака твоего деда с Адой, сменившей иудейское вероисповедание на католицизм и переехавшей в Петербург из Вильно, они опасались, что сын их станет жертвой международной авантюристки. Да, они были против, но дед оказался непреклонен. Вопрос, в сущности, шел о некоем формальном согласии, и в итоге они все же сочли, что лучше согласиться на брак А. А. Стэна с Адой, чем потерять сына. К тому же в Питере у Ады не было никаких родственников. И надо признать: в конце концов Ада очаровала и деда, и баб-

ку, – заключила Агата, предпочитавшая называть мою бабушку по имени. – Твой прадед, – добавила она, – был в свое время довольно известным адвокатом, а прабабка полагала, что Александр – всего лишь официальное имя сына, домашним же именем считала Nicolas. Это имя ей нравилось гораздо больше, чем Александр, и она смягчилась, узнав, что Ада разговаривает с ее Nicolas по-французски. Это как будто возвращало некий оттенок естественности тому, что происходило и могло произойти в пределах занимаемой Стэнами квартиры.

Из рассказа Агаты следовало и то, что прадед с женою хотели уехать из Петрограда сразу же после переворота, но сначала их задержала тяжелая болезнь прабабки, из-за которой они и переехали к сестре А. А. Стэна. Позднее, в 1922 году, им удалось уехать в Берлин, а оттуда во Францию. Агате в то время едва исполнилось два года, и она их не помнила.

Дед же, как я понимаю, оказался заложником своей в ту пору должности заведующего кафедрой скандинавских языков в университете и, возможно, наивной, но искренней веры в то, что все постепенно образуется. Никак не могу исключить и того, что какую-то роль в поддержании этой веры сыграла и Ада, наблюдавшая за действительностью через призму своего увлечения учением доктора Штайнера и не испытывавшая желания двигаться в неизвестность с маленьким ребенком на руках. Но, полагаю, основной причиной в его

намерении ничего, по возможности, не менять в своей жизни была его любовь к своему кабинету, книгам и морскому пейзажу на стене. Что до Ады, то ее он, конечно же, любил, но любил как-то особенно, любовью интроверта, как любит хозяин клетки нежданно попавшую в нее редкую, драгоценную птицу.

Последовавшее десятилетие поначалу, казалось, подтверждало надежды деда на то, что все как-то устроится, но в тридцатые годы все изменилось, и изменилось достаточно резко. И хотя последовавшие за убийством Кирова высылки не затронули деда и его семью, вера его в то, что все как-то образуется, была к тому времени уже сильно поколеблена происходившим вокруг.

К моменту же встречи с немецким психоаналитиком во второй половине тридцатых годов вера эта окончательно увяла, сменившись ощущением медленного, но неустранимого движения в сторону нового средневековья, чему находил он немало подтверждений, – взять хотя бы новое закрепощение крестьян в так называемых колхозах. Особенное же впечатление на него произвело сожжение книг в Берлине, в связи с чем припомнил он высказывание немецкого поэта Генриха Гейне: «Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей». Позднее он узнал, что ту же фразу припомнил и проживавший в Вене основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.

Новая квартира Стэнов, возникшая из объединения старой с небольшой, почти что холостяцкой квартиркой, в которой до отъезда в Выборг жил ученик Глазунова, пережила послереволюционные переделы собственности и осталась нетронутой благодаря «охранной грамоте», выданной деду членом коллегии НКВД, для которого дед переводил секретные письма и документы особой важности. После ликвидации Зиновьева этот человек с тяжелой фамилией Старокопытин оставался в Ленинграде, а позднее верно служил убийцам своего прежнего хозяина в Москве.

Однажды Агата рассказала мне, что когда человек от Старокопытина появлялся у деда с нуждавшимися в срочном переводе документами, дед немедленно оставлял все свои занятия и принимался за переводы, а посыльный в ожидании окончания работы сидел у него в кабинете, пил чай и поглядывал на пейзаж ван де Вельде Младшего. Из рассказа Агаты следовало, что кое-какие документы, переведенные дедом, имели отношение к продаже картин из Эрмитажа.

– Есть что-то загадочное, – добавила она, – в близости фамилии Старокопытина и названия нашей улицы, хотя уж ты-то знаешь прекрасно, что ни к мистике, ни к чему-либо подобному никакой склонности я не испытываю. Твой дед, кстати говоря, ужасался тому, что происходило, и не только

с картинами, – поясняла Агата, – но что он мог сделать? А о картинах в то время говорили, что их надо продавать, поскольку стране нужны трактора.

Возможно, именно эти случайности – тут я говорю о кратком знакомстве со Сташеком и длительном общении со Старокопытиным – пробудили интерес деда к расширению семейной коллекции. Доверял он лишь собственному глазу, знаниям и поразительной памяти, к советам же других коллекционеров относился весьма критически, часто повторяя крылатую фразу: «Несмотря на подпись, вещь подлинная».

5

О многих событиях прошлого узнал я из рассказов Агаты и теперь понимаю, что мое ощущение природы ушедшего времени связано с прихотливым и не всегда объяснимым устройством ее памяти. Агата была несколько выше ростом и стремительней в движениях, чем ее мать, на которую она немного походила. В обычные дни и при электрическом освещении Агата выглядела темно-русой, в солнечные же дни она казалась почти темно-рыжей, случалось это, когда луч света падал на ее голову. Родилась она в 1920 году, и хотя к тому времени, когда Агата пошла в школу, в семье стали чаще говорить по-русски, статус французского и немецкого языков в их доме никак от этого не пострадал.

Юность Агаты отмечена поездками в Крым и на Кавказ, а

также полетами на планере. В конце тридцатых годов завязавшаяся еще в Крыму дружба с одним из секретарей комсомола привела Агату в столицу, где она продолжила свое обучение в ИФЛИ и начала работать на радио, когда ее отношения с секретарем комсомола подошли к концу. Произошло это после того, как жена комсомольского секретаря, статная женщина родом из Вологды, потребовала от мужа немедленно прекратить связь с «этой ленинградской выскочкой», угрожая в противном случае обратиться в ЦК. Муж ее подчинился требованиям партийной дисциплины, чего Агата не смогла ему простить. Позднее, однако, его перевели из Москвы в Самару, а вскоре после этого арестовали и сослали туда, *куда Макар телят не гонял*. Поразительно, но Агаты эта история никак не коснулась. «Ты не поверишь, но среди этих деятелей попадались иногда и приличные люди», – призналась она как-то раз в поздние свои годы.

Всю войну Агата провела в Москве, во французской редакции «Московского радио». Основам французского и немецкого она выучилась дома, остальное пришло в годы учебы. «Языки – это то важное, что необходимо изучать с детства», – говорила она. И в самом деле, в свое время знание языков помогло ее матери найти приемлемую форму сосуществования с родителями деда. «Сначала она старалась не говорить с ними по-русски, стесняясь своего легкого акцента, только по-французски или по-немецки, знание этих языков связано было с ее виленским детством и юно-

стью», – поясняла ее дочь, так и не завершившая курс обучения в ИФЛИ, так как институт уехал в Ашхабад, в эвакуацию вскоре после начала войны.

В начале мая 1945 года Агата вернулась в Ленинград. В конце августа она родила сына. «Старый Стэн», как иногда называли моего деда, был, как говорили, строг с моим отцом и нежен с Агатой. Когда Агата отказалась не только от намерений, но и от самой мысли о том, чтобы выйти замуж за отца Андрея, дед усыновил ее ребенка и тем самым избавил внука от необходимости делать прочерк в графе анкеты, требовавшей назвать имя его отца.

Агате не хотелось отдавать Андрея в чужие руки до того времени, пока ему не придет пора идти в школу, поэтому она давала уроки, занималась переводами с французского и бегала в поисках работы по театрам и издательствам. Во второй половине пятидесятых Агате удалось получить диплом об окончании МГУ, с которым ИФЛИ воссоединился в Ашхабаде, в эвакуации. Теперь она переводила и литературно-критические статьи, и труды по истории, и прозу самых разных жанров. Книги скрытых и явных экзистенциалистов, гуманистов и сочувствующих гуманизму писателей, лауреатов Гонкуровской премии и премии Ренодо, а иногда и книги лауреатов премии Фемина теснили друг друга на ее письменном столе, она часто бывала на встречах с приезжавшими в Ленинград деятелями культуры и порой востор-

галась совсем уж малопонятными их замечаниями. Ее очаровало высказывание Ж.-П. Сартра: «Всегда можно понять идиота, ребенка, дикаря или иностранца, достаточно иметь необходимые сведения»; нравились ей и слова Ленина: «Все мы – мертвецы в отпуску», наряду с приписываемой ему репликой «Никто не умрет без разрешения». Ей импонировала решимость вождя революции запретить *смерть* как такую, поясняла она. «Запретить смерть, но как? – спрашивала она сама себя и сама же себе отвечала: – Под страхом смертной казни». «Неужели вы думаете, что вам позволят умереть без разрешения?» – спрашивала она порой у собеседников и заливалась смехом, видя их искреннее недоумение.

Какое-то свойственное ей чувство или предчувствие «черного юмора» заставило ее однажды утверждать, что Сталин любил повторять свою известную фразу «Жить стало лучше, жизнь стала веселей...» каждый раз после окончания очередного траурного митинга на Красной площади. Сказано это было в ходе разговора с ее младшим братом, рожденным в 1924 году. Услышав эти слова, мой отец не удержался от улыбки – шел конец шестидесятых, – но затем нахмурился и заметил:

– Не стоит говорить это всем подряд, Агата.

На что Агата немедленно возразила:

– А ты, Саша, это совсем не все подряд, не так ли? – и посмотрела на мою мать со значением.

Агата никогда не отказывалась от работы, связанной с переводами, но сердце ее принадлежало театру, и спектакли по нескольким французским пьесам в ее переводах шли с неизменным успехом. Легкие пьесы, комедии и трагифарсы – все они в какой-то мере соответствовали доминирующим нотам ее мировосприятия. Интересная особенность ее работы для театра состояла в том, что переводимые пьесы приходилось тем или иным образом адаптировать к условиям советской жизни, учитывая требования реперткомов, капризы режиссеров, реальность цензуры, правила приличия, втайне высмеиваемые, и актерские, порой самые невероятные темпераменты. Так, следуя требованиям одной из премьерш, а именно «мамзель Анцишкиной», как называла ее Агата, ей приходилось вносить в ремарки дополнительные указания о туалетах ее будущих героинь. «Я не могу с ней спорить и губить свой труд», – говорила Агата.

Работу свою она любила и делала ее с блеском. Когда у нее спрашивали, отчего она сама не пишет пьесы, Агата обычно уточняла: «Какие? Французские?»

Глава вторая. Анри К

1

Отец Андрея был иностранец, француз Анри К., довольно именитый в свое время журналист, происходивший из известной своими левыми симпатиями семьи преподавателя философии в лицее Кондорсе. Вскоре после окончания последнего «московского процесса» весной 1938 года Анри принял решение написать книгу о борьбе русской революции с ее врагами, для чего и приехал в Москву. Там, при содействии Старокопытина, занимавшего в то время видную должность в руководстве вещавшего на многих европейских языках «Московского радио», он познакомился с Агатой. Вскоре она начала переводить для него на французский язык разнообразные материалы и статьи, посвященные «троцкистско-зиновьевской оппозиции».

«При первой же встрече он начал говорить со мною о Троцком, к которому относился с определенной симпатией», – рассказывала Агата. «В нем были видение, страсть и élan³, – признавался он Агате, замечая попутно, что ему трудно увлечься Сталиным. – Это слишком монументальная

³ Порыв (*франц.*).

фигура, во всяком случае, для меня, – говорил он. – И потом, его усы, трубка и эти мягкие кавказские сапоги. Он похож на хозяина цирка где-нибудь на Корсике».

– Когда я услышала все это, мне стало страшно, – призналась она, – хорошо еще, что он заговорил об этом в метро, под грохот поезда. Я с ужасом вслушивалась в его слова, которые он буквально нашептывал мне на ухо. Потом мы поцеловались, и у меня в голове возникла самая странная смесь ощущений: волнение, страх, восторг приключения и мысль о том, что здесь, в Москве, Анри абсолютно беззащитен, и мне захотелось что-нибудь сделать для него – все, что я смогу...

В своей так и не вышедшей из-за начала войны книге Анри К. рассказывал не только о незатухающей классовой борьбе в СССР и осужденных на московских процессах предателях интересов пролетариата, но и об успехах книжной торговли *«в магазинах как у нас»*, построенных в разных городах Союза, о счастливой толпе прогуливающих над Волгой людей и даже о советских влюбленных в Кузнецке, которые *«прежде чем стать мужем и женой, оба вступают в партию»*. В сущности же, Анри К. прекратил работу над книгой, так как понял, что проект его, увы, оказался несвоевременным. Позднее он признавался, что был рад тому, что книга так и не опубликована. *«Я заблуждался, как и многие другие»*, – писал он.

Подписание «Договора о ненападении между Германи-

ей и СССР» и гибель Троцкого потрясли его. Пакт Молотова – Риббентропа, по его словам, был предательством, подобным предательству троцкистов и зиновьевцев. Параллель эта или «виток диалектической спирали», как он однажды сказал, поразили его, и он начал размышлять о том, во что когда-то безусловно верил. Но вступление немцев в Париж снова привело его в Москву, где он опять встретился с Агатой во французском отделе «Московского радио».

– Что было делать, ведь меня могло арестовать гестапо, – сообщил он Агате. – Мне, конечно, не особенно хотелось в Москву, тем более после подписания пакта и расстрелов бежавших от Гитлера немецких товарищей. Находясь в Париже, я начал смотреть на это немного со стороны, и, поверь, многое мне показалось странным, – добавил он, – но я помнил о тебе, и внутренний голос подсказывал, что я снова встречу с тобой, – пояснил он.

– К счастью, – рассказывала Агата, – я научила его шептать все эти признания мне на ухо, в постели, под звуки передач «Московского радио». После полуночи, когда вещание прекращалось, мы не произносили ни слова. Я догадывалась, что все наши разговоры прослушиваются. Еще бы! В конце концов, я жила с иностранцем, но власти в то время закрывали на это глаза, во всяком случае на связи тех, кто работал на радио. Мне даже не предлагали стучать. Наверное, по их оценкам я принадлежала к тем, на кого стучат. Как бы то

ни было, мне этого никогда не предлагали. Я считала, что они слушают наши разговоры, хотя в те времена нам было не до серьезных бесед. Почему я думала, что нас слушают? Потому что еще со времен первых московских процессов мой комсомольский друг рассказывал мне об этом. А теперь шла война, я переводила материалы советской прессы на французский, Анри писал свои выступления, которые он еженедельно зачитывал по радио. Жили мы в разных местах, он – в доме для иностранных корреспондентов, где я часто оставалась у него, это была невероятная жизнь: работа на радио, за столом и у микрофона, неожиданные аресты или просто исчезновение людей, молчание, смена сотрудников, постоянное ожидание неприятностей, вино, закуски, сигареты, холод, снег, перебои с отоплением, слухи, визиты представительниц различных миссий, общение с другими корреспондентами, приемы...

В 1944 году, уже после высадки союзников в Нормандии, Анри К. вернулся во Францию через Баку, Тегеран и Каир и снова появился в Москве лишь в конце 1946-го, уже после того, как во Франции прошли процессы над писателями-коллораборационистами. Его страстным желанием, как он утверждал, было жениться на Агате и увезти ее вместе с годовалым Андреем во Францию. Ему было тридцать пять, и мысль о том, что у него может быть жена, сын и дом – с учетом того, что сын уже родился, – казалась ему естественной.

«Война уже закончена, – сказал он Агате при встрече, – теперь нам нужен дом и дети...»

– Тут повеяло Толстым, – засмеялась Агата, – при том что «самкой» становиться я совсем не хотела и надеялась, что все это пройдет, как только мы окажемся во Франции.

Однако принятый в начале февраля 1947 года закон перечеркнул возможность выезда за границу Агаты и ее сына. Брак, тем не менее, мог состояться, если бы Анри К. согласился принять советское гражданство, одновременно отказавшись от гражданства французского, но против этого была Агата, которая понимала, какое будущее могло ожидать Анри. В лучшем случае ему пришлось бы работать на радио в Москве, и он, похоже, уже никогда не увидел бы свою родину. «Мы должны расстаться, Анри. Это судьба. Даже Старокопытин не может нам помочь, я уже обращалась к нему», – сказала она просто.

И Анри вернулся на родину, где в 1949 году выступил на процессе против коммунистического еженедельника «Французские письма» в качестве свидетеля защиты. Невозвращенец Виктор Кравченко, автор книги «Я выбираю свободу», требовал осуждения левых журналистов за публикацию клеветнических статей о нем и его книге. Еженедельник, со своей стороны, требовал осуждения невозвращенца Кравченко за клевету на первую страну социализма, содержащуюся в его книге, речь в которой шла о преследованиях и расстрелах политических противников советского режима.

Обвинения еженедельника поддержали множество левых интеллектуалов Европы. Выступая на процессе в ходе допроса свидетелей, Жан-Поль Сартр протестовал против попытки опорочить диалектические процессы взаимопроникновения *бытия* и *ничто*. Вслед за Сартром выступал Анри К. «Я выбираю свободу, ту свободу, что я нашел и пережил в Москве!» – заявил он.

– Не правда ли, Nicolas, звучит двусмысленно? – спросила меня Агата, повторив слова Анри К.

Много лет спустя в разговоре с сыном Анри утверждал: не выступи он на стороне еженедельника, могли бы пострадать Агата, ее родители и, в конечном счете, Андрей. Он ссылался на судьбу Кравченко, который, несмотря ни на что, выиграл процесс в Париже, но позднее, уже в Нью-Йорке, покончил с собой – так, во всяком случае, это выглядело, говорил Анри.

– Поверь, мне посоветовали поступить именно так и объяснили, почему будет умнее последовать этому совету. Боюсь, что у меня не было выбора, – завершил он, посмотрев Андрею в глаза.

2

Однажды в конце пятидесятых Агата появилась в «театре Клары Анцишкиной», где в тот вечер шел спектакль по переведенной ею пьесе.

В этом же театре в главных женских ролях драматического репертуара блистала моя мать, в то время как Анцишкина, собственно говоря, блистала просто, как это случается с женщинами того типа, что притягивают наше внимание независимо от того, какие, собственно, слова они произносят, ибо одно их появление меняет все вокруг.

Агата пришла в театр не одна, а вместе с автором пьесы, довольно известным в те годы французским драматургом, приехавшим на несколько дней в Ленинград. Все первое действие автор молчал, уставившись на сцену. Молчание его было легко объяснимо. Согласно Агате, гротескная комедия француза поставлена была в театре как социальная драма. В антракте Агату и драматурга пригласил к себе в кабинет директор театра. К ним присоединились художественный руководитель театра, очередной режиссер и завлит.

На столе стояли бокалы для холодного крымского шампанского, рюмки для «Столичной» и армянского коньяка, господствовала икра и светло-желтые ломтики лимона на блюдах, рыба холодного копчения, сырокопченые колбасы, пошехонский и швейцарский сыры и, наконец, нарезанные на дольки апельсины. Художественный руководитель театра, поставивший спектакль, с помощью переводившей Агаты произнес первый тост за автора.

Когда прозвенел звонок, автор, директор и создатели спектакля расстались, с тем чтобы вновь встретиться после его окончания.

В конце второго действия дали наконец занавес, и актеры несколько раз выходили на поклон. Публика аплодировала стоя. Со сцены сообщили, что на спектакле присутствует и автор пьесы. Исполнитель роли брачного афериста с добрым сердцем широким жестом простер руку с букетом цветов в сторону ложи бенуара. Автор поклонился, выбежал на авансцену и поцеловал руку Кларе Анцишкиной, исполнявшей роль «роковой женщины» с чуткой, отзывчивой душой. Часть зрителей повернулись к ложе, где находились директор театра и Агата, которым в свою очередь пришлось подняться на сцену и присоединиться к служителям Мельпомены. После окончания спектакля директор театра, художественный руководитель, очередной режиссер, автор пьесы, Клара Анцишкина и Агата вернулись в кабинет директора. Все взоры устремились на автора пьесы, и, подняв бокал шампанского, француз, не отрывая взгляда от Клары, объявил несколько взволнованной Агате, что он и не подозревал о возможностях подобной интерпретации своей пьесы. «Это доказывает полную свободу творчества в вашей великой стране СССР», – добавил он.

3

Лет с шести Андрей посещал изостудию при Русском музее, благо тот расположен совсем недалеко от дома, и, перерисовав огромное количество гипсовых голов, увлекся пи-

санием натюрмортов. Считалось, что рисовать обнаженную натуру ему пока рано. Более того, он часто выходил на пленэр в сопровождении Агаты или деда. Особенно нравились ему Летний сад и Инженерный замок в весеннюю и летнюю пору, наступление же снега его огорчало, он мерз и простужался, не помогали ни шапки, ни шарфы, ни валенки, ни надетые друг на друга свитера.

Иногда он писал стихи. Одно из его стихотворений, описывающее Летний сад зимой, Агата включила в текст письма без перевода, полагая, что ее французский корреспондент все еще помнит русские слова, которым она не переставала учить его даже во время последнего приезда Анри в Ленинград в 1947 году.

Вот что писала Агата: *«Мой маленький молчун иногда приносит мне стихотворения. Вот одно из них, оцени его просто. И вместе с тем, какая ясность...»* Далее следовали строки:

Засыпан снегом Летний сад,
Скульптуры в ящиках стоят.

За глаза Агата называла своего сына «орленком», отталиваясь, возможно, от персонажа известной пьесы Эдмона Ростана. Другое стихотворение, приведенное в письме, Андрей сочинил для выступления в школе, где его принимали в ряды «октябрят»:

Мы на параде:
Знамена, жара...
Красная Армия,
Ура! Ура!

4

Во второй половине пятидесятых годов Андрей вновь встретился с отцом. Тот прибыл в Ленинград на теплоходе, совершавшем круизный рейс по Балтийскому морю с туристами из Западной Европы.

Примерно за год до этого французский драматург, тот самый, что приезжал однажды в Ленинград и с изумлением наблюдал спектакль, поставленный по его переведенной Агатой пьесе, вернувшись в Париж, отыскал Анри К. и передал ему письмо, в котором Агата рассказывала об Андрее и его замечательной способности к рисованию. До своего появления в Ленинграде в качестве туриста Анри не единожды пытался получить разрешение на въезд в СССР в качестве аккредитованного корреспондента агентства «Франс-Пресс». Попытки эти оказались безуспешными, возможно оттого, что после «падения идола» он окончательно порвал с коммунистами и стал склоняться к поддержке социалистов.

— Правда, произошло это не сразу. Скорее всего, он продолжал колебаться еще какое-то время после «падения», —

сказал мне Андрей в первый мой приезд в Париж, – он просто принадлежит к такому типу людей, на которых власть действует гипнотически, и потому они боятся потерять ее расположение. И поверь, Nicolas, – так вслед за бабкой называли меня Агата и Андрей, – такие люди не редкость, их большинство, и от этого не убежишь.

Как бы то ни было, осознав, что сочетание его имени с профессией автоматически приводит к получению отказа, Анри сумел получить чистый, без каких-либо ненужных визовых отметок паспорт и присоединился в Швеции к круизу «мира и дружбы», указав в графе со сведениями о своих профессиональных занятиях «коммерцию» и на всякий случай положительно ответив на вопрос другой графы о том, бывал ли он в СССР.

5

Встреча Андрея с отцом произошла светлым летним вечером, в середине июня, когда жужжание звонка в прихожей старинной квартиры на Большой Конюшенной донеслось до его комнаты. Андрей (ему в тот год исполнилось тринадцать) подошел к двери, открыл ее и увидел невысокого стройного мужчину лет пятидесяти, в объемном светлом плаще с приподнятым воротником, седым хохолком на голове и слегка прищуренными глазами за стеклами оптических очков. Мужчина кого-то ему напоминал, и через мгновение,

когда незнакомец заговорил по-французски, Андрей понял, что перед ним Анри. О его существовании он узнал от Агаты совсем недавно, вскоре после отъезда деда и бабушки в Сестрорецк, на дачу.

– Твой отец живет во Франции, в Париже, – сказала Агата, – это самый красивый город мира. Но только об этом не стоит никому рассказывать, тебе будут завидовать, да и вообще, не нужно, чтобы об этом знали посторонние. До поры до времени, – добавила она. – Пусть это будет нашей маленькой тайной, обещаю мне хранить ее.

– Но почему он не с нами? – спросил у нее Андрей.

– Ах, это все политика, – ответила Агата, – ему пришлось уехать отсюда, а нас с тобой не выпустили...

– Он был шпион? – спросил мальчик.

– Нет, вовсе нет. Он просто честный и искренний человек, который не любит врать, – объяснила она. – Ну, он, конечно, не святой, но старался быть честным.

Теперь этот человек стоял перед ним. К тому же на странном русском языке он спрашивал, можно ли ему войти. Андрей ответил по-французски – Агата учила его языкам с детства. Гость оглянулся – чтобы понять, не слышит ли кто их разговор, сообразил Андрей, – но на площадке никого не было, и он пропустил мужчину в квартиру, провел его в гостиную и теперь уже по-русски позвал мать, которая курила на кухне, разговаривая при этом по телефону с моим отцом.

– Мама, к нам пришли! – сообщил он Агате.

Агата, сославшись на визит соседки, закончила разговор с братом, прошла в гостиную и протянула руки навстречу гостю. Он прикоснулся губами к ее щекам, улыбнулся мальчику, и тут старавшаяся сохранить спокойствие Агата предложила всем выпить чаю, после чего направилась на кухню, на секунду задержавшись перед большим зеркалом.

– Отчего ты в таком большом плаще, совсем тебе не по размеру? – спросила Агата.

– Я купил его в Швеции с определенной целью, – пояснил гость.

Оказалось, что, готовясь сойти на берег, Анри разместил под плащом несколько пакетов, для чего заранее вшил в подкладку плаща специальные крючки, на которые накидывалась бечевка. Рассказав об этом, он скинул с себя плащ, повесил его на вешалку в прихожей и извлек из него два перевязанных бечевкой бумажных пакета, прикрепленных подмышками с обеих сторон. Затем гость прошел вместе с Андреем в гостиную, где положил пакеты на стол, достал карманный нож, разрезал бечевку и развернул толстую оберточную бумагу. В пакетах оказались альбомы с репродукциями картин из Люксембургского дворца и фотографиями Парижа. Альбомы Андре протянул мальчику, сказав:

– Я слышал, ты неплохо рисуешь да еще и пишешь стихи.

– Стихи уже не пишу, но я рисую, – подтвердил Андрей, принимая альбомы.

– Давай я покажу тебе то, что мне нравится, – предложил ему Анри.

– А тебе нравится не все? – удивленно спросил его мальчик.

– А разве бывает так, чтобы все нравилось? – переспросил в свою очередь Анри.

– Не знаю, может быть.

– Ну да, все может быть, только так бывает крайне редко, – со вздохом заметил мужчина.

Появилась Агата, и гость протянул ей темную сафьяновую коробочку с серьгами, достав ее из внутреннего кармана темно-серого пиджака. Агата примерила серьги у зеркала и, воскликнув «C'est magnifique!»⁴, поцеловала Анри, вернее слегка коснулась губами его щеки, после чего позвала Анри и сына на кухню, где уже был сервирован стол к чаю.

На кухне они разговорились. Анри хотелось расспросить ее обо всем, и он спрашивал, выслушивал Агату, бросал взгляд на Андрея и снова спрашивал ее о том, что было ему не очень понятно. Пока она пыталась ответить на вопрос Анри, может ли она переписываться с ним открыто, не прибегая к помощи случайных курьеров, Андрей встал из-за стола и отправился к себе в комнату, откуда вернулся с картоном, бумагой, кохиноровскими карандашами и ластиками.

В тот вечер он сделал несколько пастельных набросков

⁴ Это красиво! (франц.)

для тех портретов своего отца, которые он написал маслом лет через десять. Позднее, уезжая в Париж, он увез большую их часть с собой.

Четыре портрета из этой серии сохранились у Агаты, теперь они висят у меня в кабинете. Это не очень большие по размеру работы, запечатлевшие голову и лицо Анри в различных ракурсах. Лицо Анри на портретах серии выражает различные эмоции – от недоумения до радостного оживления. Исходные зарисовки были выполнены пастелью почти беззаботно, и каждый картон предлагал свое цветовое решение. Характерная их черта – ясная и уверенная линия, как будто художник давно знаком с моделью.

Когда накануне отъезда Андрея во Францию я спросил у него, отчего серия портретов его отца написана на грунтованных охрой холстах, он сказал, что ему хотелось сохранить и передать те свои ощущения, что возникли в тот момент, когда Анри разворачивал шершавые бумажные пакеты с альбомами.

Глава третья. Мой отец

1

Рассказ Агаты о том, как и при каких обстоятельствах познакомились мои родители, я выслушал сидя в мягком, обитом усыпанной цветочками плотной тканью кресле; такие кресла, обитые тканью с флоральными узорами, я особенно люблю. Мне всегда нравилось слушать рассказы Агаты: был у нее и литературный дар, и вполне определенные литературные вкусы, и, возможно оттого, что она много работала для театра, Агата привыкла к совершенно специфической манере повествования, достаточно ясной и четкой, такой, словно бы все, о чем она рассказывала, увидено ею из темноты театрального зала, в то время как описываемые события происходили на освещенной сцене.

Обычно я усаживался в глубокое кресло под работой ван де Вельде; в нем, заглядывая к Агате, любила сидеть моя мать. Агата же, сервировав чай с печеньем на старом, с гнутыми бронзовыми ножками столике, устраивалась в кресле напротив. Пила она по обыкновению чай с бергамотом, добавив в него молоко. Появлялись на столике и темно-желтый, нарезанный на дольки кекс с изюмом, и присыпанное

сладкой пудрой печенье с орехами. Чай с бергамотом я никогда не любил. Мне всегда нравился черный индийский байховый чай, его я люблю пить из белой с тонкими стенками фарфоровой чашки на белом же фарфоровом блюде, добавив сахар и тонкий ломтик лимона.

В одну из наших бесед за чаем я уяснил для себя, отчего Агата никогда не любила первую жену моего отца. «Это был мезальянс. Ему нужна была совсем другая женщина, – сказала она как-то раз и добавила: – Что самое удивительное, Саше повезло...»

Ему было тридцать с небольшим в ту пору, он был майор медицинской службы и проходил ее в окружном военном госпитале, где начал работать после возвращения в Ленинград с войны в Корее, стране в ту пору желтой и ужасно пыльной. «Корейцы с удовольствием ели собак и нередко нападали на госпитали. Они старались перерезать горло. Каждому. Больным, раненым, медсестрам, врачам – точь-в-точь как своим собакам. Человеческая жизнь в Корее просто ничего не стоит, это была большая резня, множество людей просто сошло с ума», – рассказывал отец Агате.

Майор медицинской службы Стэн участвовал в войне с Японией в 1945 году, а затем воевал в Корее с июня 1950 по июль 1953 года, причем реальность войны в Корее, согласно его рассказам, обладала вполне явственным психиатрическим измерением. Агата запомнила его рассказ о Желтом

море и осьминогах, утаскивавших под воду лодки с корейцами. Военнослужащие, случалось, стреляли в своих товарищей или занимались самострелом, и разбираться во всем этом хаосе следовало армейским психиатрам. Задача, которую приходилось решать Александру Стэну, состояла в том, чтобы отличить военнослужащих, переживших нервный срыв или действительно сошедших с ума, от попросту «косивших», а уже после этого принимать решение об отдыхе, лечении, разжаловании, суде или демобилизации.

Вернулся он с войны не один, а с женой, или «фронтальной подругой», как называла ее Агата. Отец и его жена прослужили в одном военном госпитале несколько лет. «Жена его была членом партии, это типичный мезальянс. В ней было что-то деревенское, – сокрушалась Агата, – она всегда возвращалась со своих партсобраний навеселе, с ярко накрашенными губами. Короче говоря, попросту вульгарная особа. Вернувшись домой, в Ленинград, твой отец осознал, что она просто не в его вкусе».

Как-то Агата сказала: «Поразительно, до какой степени непоследовательны мужчины, а впрочем, все мы... – И после некоторого раздумья добавила: – Кто бы мог подумать, что Саша женится на такой женщине. Вот еще один результат войны – институт “фронтальных подруг”, мужчины и женщины сближаются или попросту сходятся перед лицом смерти, а затем кончаются война, страх, несвобода – и все уходит». Мне пришло в голову, что, возможно, она примеряет свое

суждение к событиям собственной биографии.

Брак отца вскоре распался, и его бывшая жена уехала в Москву.

2

После ее отъезда Александр Стэн, брат Агаты и сын профессора А.А. Стэна, продолжал жить в небольшой квартире на четвертом этаже дома в Митавском переулке, неподалеку от Московского вокзала. Лифта в доме не было. Хозяин квартиры, коллега-невропатолог, командирован был на несколько лет в Китай для изучения теории и техники иглоукалывания.

Прошел год, жизнь Александра Стэна вошла, казалось, в нормальное русло, он привыкал жить один и однажды, в пятницу вечером, навестил родителей и сестру Агату. Андрею в ту пору было лет десять.

– Агата, ты должна мне помочь, – неожиданно попросил он сестру. – Я думаю, она актриса, мне кажется, я где-то видел ее, но не помню, в каком это было театре.

Он рассказал Агате о молодой женщине, встреченной им в больничном коридоре, о светлом, почти матовом ее лице и скользнувшем по нему взгляде.

– Она приходила навестить больного отца, в руках у нее был букет ирисов на длинных стеблях. Отец ее – контр-адмирал Толли-Толле, – добавил он.

Агата засмеялась и сказала, что знает, о ком он говорит, она даже знала, кто вручил этой актрисе букет цветов, который она решила отнести в больницу, где приходил в себя после операции ее отец.

– Сходи на «Коварство и любовь», театр недалеко от Литейного, – посоветовала она, – представься, и она догадается, что ты мой брат. Правда, на брата ты не слишком похож... Разве что взгляд, но никак не глаза...

Агата, как я понимаю, имела в виду то, что во внешности отца превалировало северное, унаследованное от Стэнов начало.

3

На следующий день была суббота. После окончания рабочего дня приятели отца, супружеская пара, с которыми он дружил со студенческих лет и с кем часто проводил свои выходные после развода, уехали в этот день на дачу копать картошку, а он решил пойти в театр, где, как оказалось, вечером шел спектакль, о котором говорила Агата. К тому же он просто не знал, как еще скоротать предстоящий вечер. Правда, название пьесы и какие-то смутные воспоминания о временах, когда он рылся в отцовской библиотеке, подсказывали ему, что увидеть придется что-то напыщенное и никак не соответствовавшее времени, в котором он жил. К тому же несколько критичное отношение к собственным эмо-

циям и переживаниям предостерегало его от осуществления нелепой, как ему теперь представлялось, идеи познакомиться с актрисой, которая к тому же оказалась еще и дочерью контр-адмирала Толли-Толле. Но спектакль по пьесе Фридриха Шиллера назначен был именно на этот вечер, и он решил испытать судьбу.

После непродолжительных переговоров с кассиршей в узеньком окошечке театральной кассы он приобрел билет на спектакль и, миновав билетеров, направился в буфет, где заказал бокал шампанского и бутерброд, поданный на блюде с голубой каемкой, что заставило его улыбнуться. Бутерброд состоял из полусухого ломтика батона с маленькой розеткой масла и полупрозрачного кусочка бледно-желтого голландского сыра.

У соседнего столика разговаривала пара; похоже, работали они на одном заводе, в конструкторском бюро, ибо сначала разговор шел о чертежах и синьках. Мужчина средних лет, довольно высокого роста, светловолосый с пролысынами, в очках, внешне несколько напоминал композитора Сергея Прокофьева. На лацкане его пиджака красовался институтский значок. Женщина выглядела моложе его лет на десять, темные волосы ее были завиты и аккуратно уложены, глаза за стеклами очков блестели, одета она была в скромное темное платье. Перед ними на столике стояли два бокала шампанского и тарелка с двумя бутербродами.

Александр Стэн прислушался. Женщина рассказывала

своему спутнику о том, какой самостоятельный мальчик ее сын, она уже успела ему позвонить и он, как оказалось, сделал уроки и уже поужинал. На ней были легкие, не соответствовавшие погоде туфли – скорее всего, она оставила боты в раздевалке. Судя по всему, этот поход в театр был давно задуман и вот теперь осуществлен.

До начала спектакля оставалось еще какое-то время, и публика постепенно заполняла фойе театра.

Затем Александр Стэн подошел к огромному стенду в холле театра с фотографиями актеров, актрис, директора театра, завлита, главного художника и всех остальных сотрудников. Вначале он увидел фотографию запомнившейся ему женщины среди фотографий актеров и сотрудников театра в только что приобретенном буклете с репертуаром театров Ленинграда на сезон 1954–1955 года. Правда, фотография была невелика, и он не был уверен, что это именно та молодая женщина, которую он видел в коридоре клиники с букетом ирисов в руках. Затем он открыл приобретенный в кассе буклет с фотографиями актеров и перечнем спектаклей. Через мгновение он понял, что не ошибся, – на обеих фотографиях было именно то лицо, которое он запомнил. Фамилия под фотографией окончательно рассеяла его сомнения. Контр-адмирал Толли-Толле был видной фигурой в области морской радиосвязи, и имя его иногда упоминалось в печати и по радио, неустанно вещавшем об освоении Арктики,

льдах, торосах и айсбергах.

Тогда он направился к администратору и представился. Его интересовало, сможет ли он отнести цветы за кулисы по окончании спектакля. К сожалению, это было против правил. Но передать цветы с запиской брался сам администратор.

– В нашем театре ее все очень любят, – сказал, поглядев на него, лысый и чем-то похожий на известного в ту пору гроссмейстера Бронштейна администратор. – А передать цветы, конечно же, можно, я сам передам ваши цветы. А вы напишите записочку, – тут он улыбнулся и кивнул, давая понять, что аудиенция закончена.

До начала спектакля оставалось еще около получаса, и после того, как администратор одним росчерком пера своей авторучки оставил на его билете знак Z, Александр Стэн вышел из театра на улицу. Букет ему удалось купить тут же, неподалеку. Был сентябрь, и у ближайшей остановки трамвая он увидел молоджавую женщину в стоптанных туфлях и с папироской в зубах. Левой рукой она прижимала охапку астр к серому просторному плащу с темными от воды пятнами на груди. Стэн подошел к женщине и посмотрел на цветы. Она, по-видимому, только что вытащила их из ведра, капли воды падали со стеблей на теплый асфальт. Ясно было, что она живет где-то неподалеку.

– Цветочки хотите? – спросила женщина, вынимая папироску изо рта.

– Да, конечно, – ответил он.

– Так вот они, выбирайте сами, – сказала женщина.

– Давайте пройдем, где посветлее, – предложил Стэн.

Они подошли к витрине магазина, из дверей которого выходили женщины в пальто, шляпках и туфлях на толстых каблуках и мужчины в шляпах и кепках, двубортных костюмах и габардиновых плащах. Люди несли кошелки и авоськи с продуктами, консервами, шампанским, водкой и дешевым портвейном.

Он принялся разглядывать цветы, выбрал те, что ему приглянулись, расплатился, женщина быстро отряхнула воду со стеблей, перевязала их ниткой и обернула бумагой.

Вернувшись в театр, Александр Стэн вытащил из нагрудного кармана пиджака авторучку, набросал несколько слов на листочке бумаги из блокнота и, свернув его, сунул в букет. Затем он отнес цветы администратору. Тот вновь заверил его, что все будет сделано как полагается, то есть согласно правилам, столь же незыблемым, как правила шахматной игры, и на всякий случай попросил у доктора Стэна номер телефона, после чего тот облегченно вздохнул и направился в зал.

То, о чем рассказывал спектакль, не имело ничего общего с тем, что волновало в ту пору майора медицинской службы Александра Стэна. События на сцене происходили почти за два столетия до его возвращения из Кореи. Майор

Фердинанд фон Вальтер, влюбленный в Луизу, дочь честного музыканта Миллера, фаворитка герцога леди Мильфорд, влюбленная в майора, коварство отца майора, президент фон Вальтер и его бесцветный секретарь Вурм, домогающийся руки Луизы, хитросплетение интриг и под конец смерть влюбленных от растворенного в лимонаде яда. Пьеса эта скорее соответствовала типу здания, в котором размещался театр, его интерьеру, креслам с красной, траченной временем бархатной обивкой, ну а любовь давно уже казалась ему невозможной; однако по мере развития событий Александр начал догадываться: именно то чувство, что Шиллер называл любовью, существует несмотря ни на что и вопреки всему. Она существует хотя бы как возможность и не может перестать существовать в этой модальности. И это одна из тех его догадок, которые он не собирался обсуждать с кем бы то ни было. Он также отдавал себе отчет в том, что эта идея возникла в его сознании уже после того, как он посмотрел спектакль, где все его внимание было отдано исполнительнице роли леди Мильфорд.

По окончании спектакля он направился к служебному выходу.

– А вот о чем они говорили, я не знаю, – сказала Агата, заканчивая рассказ.

– Ах, о многом, – вздохнула мать через несколько лет, рассказывая о том, как познакомилась с отцом.

Выслушав ее, я понял, что пускаться в дальнейшие расспросы не следует, да, в сущности, и бессмысленно. Достаточно было и того, что в записке говорилось: отец чувствовал себя не вправе подойти к ней в коридоре больницы, когда увидел ее в халате с чужого плеча и с букетом ирисов в руках.

– Я сразу поняла, что он человек военный, по астрам, – добавила моя мать. – В нем чувствовалась сила.

К тому времени я уже понимал, что интонация, голос и облик человека порою бывают важнее того, что он говорит.

Глава четвертая. На Петроградской

1

Жили мы на Петроградской, в квартире, доставшейся будущему контр-адмиралу Толли-Толле вскоре после выхода из заключения. При этом флотоводцем мой дед со стороны матери никогда не был, а был специалистом по радиосвязи, шифрам, радиолокации, самоуправляющимся сложным системам и еще неведомо чему. Родом он был из Риги и по отцовской линии состоял в отдаленном родстве с Барклаем де Толли. После 1918 года отец его стал одним из командиров латышских стрелков, позднее перешел на работу в ЧК и вскоре после убийства Кирова и последовавших перемещений в руководстве ГПУ застрелился в своем кабинете. В те годы его сын, будущий контр-адмирал Толли-Толле, постоянно задерживался допоздна в своей радиотехнической лаборатории. О смерти отца ему сообщили по телефону, и, появившись дома, он, по свидетельству моей бабки Аустры Яновны, сказал что-то вроде: «Он слишком много знал. Добром это не кончается».

Собственно говоря, это могло означать что угодно, в том числе и *устранение*, как выражался дед много позднее в беседах с моей матерью. Пожалуй, он любил мудреные тер-

мины. Позднее, уже на моей памяти, дед охотно пользовался понятиями *негэнтропия*, *информация* и *логарифм*. Все три термина соединялись в одно неясное для меня высказывание, которое дед любил использовать в качестве комментария к тем чужим высказываниям, которые он явно не одобрял. Характерными чертами его были какая-то непроясненность и даже скрытность, да еще, пожалуй, нордическое методичное упорство, проявившееся поначалу в разработке разнообразных, в том числе и умещавшихся в фибровые чемоданы, передатчиков. Используя эти передатчики, он участвовал в спасении летчиков и затертых льдами ледоколов и когда-то провел несколько месяцев на дрейфовавшей у Северного полюса льдине. Именно тогда его имя впервые попало на страницы газет. Через год после смерти Кирова будущий контр-адмирал побывал в Италии. Ездил он туда вместе с другими специалистами принимать субмарину, построенную на верфях компании «Фиат» в Генуе.

По завершении ходовых испытаний был устроен прием, на который прибыл Муссолини. Посол Потемкин встретил дуче на ступенях у входа в палаццо. Затем Муссолини и его сопровождающие проследовали внутрь здания и поднялись по устланной красным ковром мраморной лестнице на второй этаж. Проходя мимо невысокого мраморного постамента с бюстом вождя революции, Муссолини внезапно остановился. Вслед за ним остановился и посол, остановились и шедшие за ними люди. Некоторое время дуче созерцал скульп-

туру, а затем спросил:

– Кто скульптор?

– Фамилия скульптора Кац, – сообщил посол, присмотревшийся к табличке на постаменте.

– Ну что ж, – усмехнулся дуче, – для скульптора с такой фамилией это совсем неплохая работа.

На лицах итальянцев появились улыбки, и Муссолини, весьма довольный собой, проследовал в зал. Улыбки же объяснялись тем, что для итальянского уха звукосочетание «кац» означает то же, что и слово из трех букв, украшающее русские заборы.

Рассказывая эту историю, дед посмеивался. Ему она нравилась, подозреваю, как образец искусного манипулирования информацией. Бабка (а она была много моложе его) обращалась к нему по имени-отчеству, что никого никогда не удивляло.

Аустра Яновна, как и дед, происходила из оказавшейся в Питере и обрусевшей латышской семьи. Мать ее преподавала в школе немецкий, отец занимался гидромелиорацией малых водоемов и славно потрудился на ниве благоустройства городских каналов и водозаборных систем. И в облике Аустры Яновны, и в ее поведении преобладала прибалтийская сдержанность, составлявшая ее главное отличие от окружавших ее уроженцев Питера. Правда, сдержанность ее была не просто чертой уроженки Прибалтики, а качеством, присущим обычно людям, живущим не в своей стране, сдер-

жанностью, так сказать, второго порядка, чертой, которую мать моя никак от нее не унаследовала. Впрочем, сдержанность эта граничила еще и с некоторой надменностью, тень которой изредка пробегала по ее бледному лицу, выдавая себя прохладным неморгающим взглядом серо-голубых глаз и чуть опущенными кончиками ясно очерченных губ. Нельзя не отметить и то, что именно бабка привила моей матери любовь к театру и позднее поддержала ее намерение стать актрисой.

– Красота и достоинство не должны исчезнуть, хотя бы и только на сцене, – сказала она мужу, объясняя свое решение поддержать дочь.

Контр-адмирал же полагал, что театр есть не что иное как вертеп.

– Или Голгофа, – возразила Аустра Яновна.

Ее тетка работала когда-то в латышском драматическом театре в Москве и была расстреляна вместе со всеми остальными актерами и актрисами в 1937 году.

Самого деда арестовали через два года после возвращения из Италии, когда приобретенная у итальянцев подводная лодка попала в ледовый плен во время перехода из Белого моря в Баренцево. Поход в Баренцево море связан был с модной в то время идеей освоения Северного морского пути. Выполняя спущенный сверху приказ, лодки, двигаясь подо льдами, должны были закладывать огромные заряды взрыв-

чатки в местах критического скопления льдов. Первоначальную разведку и оценку положения льдов должна была предоставить полярная авиация.

– По сути своей, – рассуждал контр-адмирал в поздние годы, – это была попытка повторить успехи Метростроя и создать надежную трассу для движения во льдах. Идея несколько опережала время и его возможности, в частности, в вопросе поддержания радиосвязи с подводными лодками, идущими подо льдом. Кого-то должны были посадить, и выбор пал на меня, – сказал он однажды, незадолго до смерти.

Деда обвинили в неоправданных расходах на исследования, разработку и создание новой техники для осуществления связи с подводными лодками. Вскоре после его ареста арестовали и бабушку, Аустру Яновну, а мою мать забрала к себе тетка, проживавшая в Пушкине. Однако будущий контр-адмирал выдержал и побои, и запугивание, и ничего не подписал, и поскольку другого такого специалиста по радиосвязи в стране не было, ему создали условия для продолжения работы за колючей проволокой: возглавляемое им специальное конструкторское бюро направляло работу института, которым он руководил до посадки. Прошло несколько лет, и после успешных испытаний разработанного им оборудования дед был освобожден, а позднее еще и восстановлен в прежней должности.

После освобождения дед, его жена и дочь, которая все это время прожила у тетки, оказались во временно предостав-

ленной им комнате в коммунальной квартире на Садовой.

Первые несколько недель к ним почти каждый вечер приходил участковый и проверял документы об освобождении. Соседи глядели на них со смесью страха, уважения, зависти и презрения. Когда мой дед, не мудрствуя лукаво, избил соседа, выходявшего подымить на кухню и каждый раз не упускавшего случая сказать какую-нибудь гадость в адрес моей бабки, презрение навсегда исчезло из этого небогатого набора эмоций.

Вскоре, в одно прекрасное утро, за бабкой приехали молчаливые товарищи со шпалами в петлицах. Приехали они еще до того, как она должна была как обычно направиться на работу в пединститут. Ее усадили в автомобиль и после недолгой поездки показали огромную пустую квартиру на Петроградской стороне, напротив зоопарка, объяснив, что завтра ее муж получит ордер на проживание в этой квартире. Затем ее отвезли в огромный ангар в аэропорту Пулково, где предложили выбрать подходящую для указанной квартиры мебель. Ангар был огромен, заполнен самой разной изъятый при арестах и выселениях мебелью, но все попытки отыскать мебель, конфискованную после ареста контр-адмирала и его жены, оказались тщетными, и после пары часов поисков Аустра Яновна подписала список понравившихся ей предметов обстановки из хранившейся в ангаре мебели, доставленной на следующий день в обширную с

высокими потолками квартиру.

2

Прямые солнечные лучи редко попадали в контр-адмиральскую квартиру. По утрам солнечный свет касался стен и темных деревянных панелей в гостиной, а самым светлым помещением в квартире была просторная комната с эркером, примыкавшая к столовой и выходившая окнами в сад.

Мебель, отобранная Аустрой Яновной в ангаре, была разностильная, темная и громоздкая; кровати и платяные шкафы, обширные диваны, секретер, письменный стол и книжные шкафы соседствовали с уютными креслами, столиками и старыми лампами начала века с желтыми сплетенными проводами, пожелтевшими абажурами и тронутыми патиной медными трубками и рычажками переключателей.

Именно в этой квартире я и вырос, вернее даже не во всей квартире, а преимущественно в комнате с эркером и полукруглым диваном, обитым серебристым бархатом, с журнальным столиком и несколькими креслами и темными, с золотым тиснением корешками переплетов в книжных шкафах у дальней стены.

Через несколько лет после выхода из тюрьмы, уже после окончания войны, деду присвоено было звание контр-адмирала. Однако доносчики из числа его лучших учеников продолжали свою деятельность, о чем дед, естественно, догадывался. Смотрел он на эту сторону жизни философски:

– Радиоприемник по существу своему и устройству весьма похож на передатчик, а передатчик, в свою очередь, очень близок по устройству к приемнику... В одном случае вы получаете радиосигналы из эфира, – он очень любил это слово, – и сигнал этот несет информацию о звуке, который в вашем приемнике восстанавливается по наложенным на электромагнитные волны очертаниям звуковых колебаний. С другой стороны, передающая станция при посредстве электромагнитных волн передает все характеристики, ну, скажем, вашего голоса в эфир, так что процессы приема и передачи внутренне взаимосвязаны. И если вы что-то сообщаете окружающим вас людям, то, естественно, должны ожидать, что они будут передавать эту информацию дальше... Поскольку человек не слишком уж сильно отличается от приемно-передающего устройства, – говорил он, с удовольствием замечая ужас в глазах Аустры Яновны, – всяческие обещания, клятвы и прочие попытки провести в жизнь идею сохранения тайны почти всегда бессмысленны и мо-

гут задержать естественные процессы передачи информации лишь на какое-то время. Чем, впрочем, и занимаются всевозможные службы, определяя сроки засекречивания той или иной информации и пытаясь спланировать обеспечивающие эти сроки засекречивания меры.

Назовем вещи своими именами: похоже было на то, что люди для моего деда были не чем иным, как источниками и передатчиками информации, хотя, следует сказать, не отрицал он и того, что предлагаемые им схемы понимания человеческого поведения ужасно примитивны. Лишь позднее мне пришло в голову, что философия деда выросла из его опыта: огромное количество технической информации, используемой в его разработках, поступало к нему в институт благодаря работе разведчиков-нелегалов в странах Запада.

– Что ж поделаешь, коли мы живем в такое время, – говорил он.

– Но театр, искусство, творчество – ведь это все другое, – возражала ему бабка, не осмеливавшаяся даже упоминать о вере и вечной жизни души.

– Люди должны иметь возможность ошибаться, какие-то области надо оставлять не до конца отрегулированными, тогда из ошибок, из просчетов или срывов может возникнуть нечто новое; нельзя не учитывать и случай. Взять, к примеру, хотя бы те обстоятельства, при которых наша дочь встретила своего будущего мужа, – продолжал дед свои рассуждения, демонстрируя то же необъяснимое стоическое упор-

ство, с которым он переносил допросы и побои.

Из чего ясно, я думаю, и то, отчего отец мой предпочитал по возможности меньше общаться с контр-адмиралом. Тем не менее моим родителям пришлось переехать в эту квартиру вскоре после моего рождения. Причина была проста: моя мать собиралась вернуться на сцену еще до того, как мне исполнится год, и сумела уговорить отца переехать, что было, как я понимаю, совсем непросто, ибо отец хорошо знал тот тип людей, к которому принадлежал контр-адмирал Толли-Толле.

О себе скажу лишь, что с раннего детства мне нравилось бывать у Стэнов, иногда я оставался ночевать у них; любимицей же контр-адмирала и его жены была Нора, и с нею они чувствовали себя гораздо удобней и естественней, чем со мной.

4

В тот год, когда Нора окончила первый класс, адмирал с супругой направился в длительную, на несколько лет командировку в Севастополь, а Тасю, вымуштрованную Аустрой Яновной и давно уже ставшую неотъемлемой частью дома, оставляли в полное распоряжение моей матери. Жила Тася в небольшой комнате, примыкавшей к кухне, водила Нору в детский сад, неплохо готовила и любила при случае приложиться к бутылке. Норе было лет десять, когда у нее обна-

ружили затемнение в правом легком, и мать с отцом отвезли ее в Севастополь, где контр-адмирал Толли-Толле занимался обновлением радиолокационной службы черноморского флота.

5

На юг мы не ездили – мать не переносила южное солнце, она, как и отец, чувствовала себя вполне комфортно на даче у Стэнов в Сестрорецке, где сохранилось немало количество старых, изданных еще в двадцатые-тридцатые годы книг. Дом был двухэтажный, деревянный, окруженный соснами. Особенно хорошо запомнились мне темные осенние ночи и опадающий за горизонт Млечный Путь. Отец рассказал мне о звездных скоплениях еще в детстве. Тогда же услышал я имя Камиля Фламариона – отец читал его книги. Помню, как со свечой в руке я поднимался в комнату на втором этаже, где отчего-то не горела лампочка. Окно наверху было открыто, и свечу задуло, стало темно, но во тьме за серым зыбким контуром оконной рамы светилась уходящая в никуда россыпь бледных огней.

В то лето я заболел. Сидя у моей постели, мать читала мне «Робинзона Крузо»; книга в суперобложке была проиллюстрирована гравюрами Гюстава Доре. Я запомнил описание потаенной лимонной рощи. Расположена она была под горой, в долине, и герой Дефо бывал там крайне редко, так как

боялся пропустить проплывающий мимо острова корабль. Лимонная роща, синее море и белый парус – все это виделось необычайно ярко, смешавшись с ароматом лимона, меда и чая, которым меня поили.

По ночам я разглядывал Млечный Путь, и отец пообещал свозить меня в обсерваторию в Пулково, где, как он сказал, наблюдают звезды.

6

Каждое лето, в августе, направлялись мы путешествовать: выезжали на озера Карельского перешейка и в Прибалтику, не раз бывали на Рижском взморье и в самой Риге, где в первый же наш приезд я увидел постамент памятника маршалу Барклаю де Толли. Никакой фигуры на постаменте, однако, не было.

– Это наш дальний предок, – сказала мне мать.

Мы стояли у постамента с именем полководца на краю Александровского сада, скорее даже на бульваре, что завершался у здания Главпочтамта. Рядом в саду, прогуливаясь по дорожкам, беззаботно клевали хлебные крошки голуби.

– Этот постамент? – спросил я.

– Нет-нет, сам Барклай, – пояснила она смеясь.

– А где же он? – спросил я.

– Он пропал, – объяснила мать, – сошел с постамента и удалился...

– Куда?

– Наверное на взморье, подышать свежим воздухом, – ответила мать.

Медный Барклай, гуляющий по взморью, меня поразил.

Через несколько лет по дороге в бывший Кенигсберг заехали мы на мызу в Восточной Пруссии, где в 1818 году Барклай де Толли умер от сердечного приступа в возрасте пятидесяти четырех лет. Я запомнил сверкающую змейку реки, холмы и голубые леса на горизонте.

– Они его затравили, – сказала мать о Барклае, – а все, что написано о нем в «Войне и мире», – это бредни Толстого, его туманная философия.

Роман Толстого я прочитал сразу после окончания учебного года в школе, незадолго до отъезда. Лето для меня всегда было временем запойного чтения.

Возвращаясь из бывшего Кенигсберга, мы заехали в Вильнюс, где когда-то жила Ада.

Я увидел Гедиминову гору, красные, тронутые ржавчиной крыши, убегающие вниз улицы в мягком и рассеянном, влажном солнечном свете, узкие, желтеющие в переулке дома, костел Святой Анны, ворота городской стены с мрачной часовней по имени Острая Брама и старую Ратушную площадь.

В кафе на площади родители заказали карбонад с брусникой, салаты и картофельный цеппелин с мясом для меня.

– Раньше здесь все было иначе, – сказала мать, когда мы сидели за деревянным столом в зале, стилизованном под корчму на литовской границе. – А теперь появились новые районы, совершенно безобразные, но все-таки не такие страшные, как у нас в Ленинграде. Так выпьем же чарочку за шинкарочку! – провозгласила она, подняв бокал с местным фруктовым вином.

Зимой она репетировала роль Марины Мнишек, но спектакль закрыли. «Они сочли его слишком вольнодумным, – пояснила тогда мать. – Бедный Пушкин! А он всего-навсего подражал Шекспиру. На бедного Алексея Николаевича жалко было смотреть, а впрочем, поделом ему!» – сказала она о главном режиссере того театра, где служила искусству.

Отец внимательно ее слушал. Он всегда слушал ее со вниманием, он вообще никогда и никого не перебивал, напоминая этим свою мать. Моя же мать обычно высказывала какое-либо суждение, затем развивала свою мысль, порой уводя в сторону; вот и сейчас она вспомнила об уже пошитом для нее costume Марины Мнишек, скорее даже «облачении», уточнила она. А потом умолкла и посмотрела в сторону отца, и тогда он сказал что-то легкое, чтобы разрядить обстановку.

Я навел на нее объектив отцовского фотоаппарата «Зоркий» и щелкнул. В эту поездку я получил первые знания о том, что такое выдержка, диафрагма и резкость. Фото это сохранилось.

Что на самом деле имела в виду мать, о чем думала, заметив, что когда-то здесь все было иначе? Позднее, познакомившись с понятием «подтекст», я не нашел его ни новым, ни непонятным, подтекст всегда присутствовал в наших домашних разговорах. Вот и тогда, сидя за столом, я вдруг вспомнил, что, по рассказам Агаты, во времена молодости моей бабушки Ады город этот часто называли Иерусалимом Литвы. Наверное, мать просто вспомнила первую свою встречу с Адой, подумал я, ведь они были такие разные. И кто это утверждал, что мужчины выбирают женщин, похожих на свою мать? Пожалуй, это утверждение не имело ровно никакого отношения к выбору моего отца.

Глава пятая. Живой труп

1

С годами я открыл, что переживание прошлого бывает порой не менее насыщенным и интенсивным, чем переживание настоящего, более того, прошлое живет где-то рядом с настоящим, иногда переступая разделяющую их грань. И оно до невозможности живое, никак не в меньшей мере чем то, что мы называем настоящим.

Мне было года три-четыре, когда одной из самых загадочных вещей в доме мне представлялся радиоприемник – не очень большой темный деревянный ящик, из которого однажды вдруг зазвучал человеческий голос. Произошло это через некоторое время после того, как на панели ящика вдруг засиял, медленно разгоревшись, зеленый глаз, мерцавший в осязанием согласия с голосом.

«Живой труп» – слова эти донеслись из темного деревянного ящика, стоявшего на круглом столике в углу комнаты. Помню еще и потертый край обитого зеленым плюшем кресла у столика. Все остальное тонет в некоем тумане, внезапно прорезанном этими словами. Поначалу мне подумалось, что человек, чей голос я услышал, прячется где-то за ящиком или за креслом, но там никого не было. Тем не менее я готов

был допустить, что он существует, но просто невидим. Оставалось лишь дожидаться того момента, когда взрослые принесут ему что-нибудь поесть, скорее всего в жестяной миске, подобной той, из которой ел наш пес по кличке Вурм, названный так в честь одного из персонажей пьесы Шиллера «Коварство и любовь», на представление которой однажды пришел мой отец. Однако ожидания мои оказались тщетными, а загадка осталась, и *живой труп* постоянно возникал в моих размышлениях. Не оставляла меня и мысль о том, на каком языке изъяснялась отрезанная от тела голова, и теперь я понимаю, что хотел узнать, на каком языке разговаривают мертвые, – к тому времени я уже видел мертвеца в доме у Агаты. Наверное, *на мертвых языках*, внезапно пронзила меня догадка, когда я вспомнил это не раз слышанное в доме выражение. Да, конечно, именно на *мертвых*, но принадлежат ли они *язычникам*? И кто такие эти *язычники*? Злые ли они? И сколько их? Все эти вопросы меня мучали, и я молчал, слушая разговоры старших и зачастую не понимая их. Однажды я спросил у матери, сколько языков знал *живой труп*.

Мать ответила не задумываясь: о да, она уверена, что тот человек, о ком я говорю, знал и французский, и немецкий, что было вполне естественно для людей того круга в то время. «Во всяком случае, – сказала она, ссылаясь на уже знакомое мне по рассказу “Филиппок” имя автора, – сам Лев Николаевич Толстой прекрасно говорил на английском, фран-

цузском и немецком языках. Более того, на склоне лет Толстой взялся за изучение древнееврейского. Кстати, пора мне поговорить с Агатой о твоём образовании», – добавила мать.

Как-то мать рассказала, что моя бабушка, арестованная в свое время вслед за дедом, выжила благодаря тому, что обучала французскому языку сокамерницу в следственной тюрьме. Соседка моей бабки по нарам была молода, хороша собой и после окончания следствия стала женой начальника следственного отдела. Вскоре после выхода из тюрьмы она добилась освобождения моей бабки, у которой начала брать уроки французского и хороших манер, и так продолжалось до самого начала войны. «Ты представляешь, что стало бы с твоей бабушкой, не знай она французского?» – спросила тогда мать.

Так Мельпомена и Клио, управлявшие жизнью матери, не оставляли мне никакой возможности уклониться от изучения иностранных языков.

Принял я этот «приговор» со стоическим смирением. Существовала некая «улица», как видно несколько отличная от тех, по которым я ходил, направляясь в школу, и родители мои считали, что чем больше я буду заниматься языками или чем-то «дельным», тем меньше у меня останется времени для «улицы» и ее влияния. Дельным же могли быть занятия в кружках, изучение языков с теткой, занятия спортом и детская драматическая студия при Дворце пионеров.

В то время я уже догадывался, неясно и неотчетливо по-

началу, что провидение готовит мне судьбу *живого трупа*. Слова эти нашли меня, и я откликнулся на них с обреченностью тайновидца, узревшего одному ему ведомые знаки на стене. Речь идет о том метафизическом смысле, который предполагает соединение этих слов, если забыть о содержании пьесы и ее персонажах и попытаться взглянуть в проступающее за хаосом обрисованной действительности содержание так, словно разглядываешь ущербный, затемненный диск солнца через зачерненное копотью свечи стеклышко.

Жизнь моя к тому времени полна была неопределенности. Во-первых – и даже в-последних – в том, что звали меня Николай. Отец мой утверждал, что так звали бойца, дотащившего его, раненного, с ничейной земли до наших окопов и исчезнувшего потом из его жизни. Я же подозревал, что мое имя связано с домашним именем деда, Nicolas, но сказать этого никому не мог, не желая хотя бы и косвенно оспаривать версию отца. При этом, однако, услышанные на кухне звуки песни со словами «*Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй...*», доносившиеся из приемника в комнате у Таси, обычно заставляли меня в недоумении глядеть на себя в зеркало и размышлять, отчего мне досталось это имя. Валенок у меня, в отличие от упоминаемого в песне Николая, никогда не было, к тому же «валенком» окружавшие меня старшие называли обычно людей неловких. Признаюсь окончательно, имя свое я терпеть не мог, пожалуй даже ненавидел. Казалось мне, что оно более всего подходит *живому трупу*.

Глава шестая. Беседы с отцом

1

Со временем, однако, стало мне казаться, что услышанный по радио голос связан каким-то образом с головой, вещающей с тарелки, которую я видел на странице книги, лежавшей на столе в комнате, именуемой библиотекой. Рядом с книгой стояла хорошо знакомая мне белая фарфоровая чашка с недопитым матерью кофе. Помимо небольшого количества старых романов и изданий, посвященных искусству, библиотечное собрание включало множество книг о географических открытиях, плаваниях и поисках проливов, учебников по математике и радиосвязи, а также принадлежавшие отцу книги по физиологии, психологии и терапии нервных заболеваний.

На рисунке или, вернее, репродукции, о которой идет речь, изображено было белое фарфоровое блюдо, стоящее на покрытом красным бархатом столе. На блюде находилась мужская голова. При полном отсутствии туловища, что было очевидно, ибо бархатная накидка не доставала до пола и разделенные пустым и слегка запыленным пространством ножки стола видны были совершенно ясно, она казалась живой. Впрочем, должен уточнить, что показавшееся мне головой

живого человека все же больше походило на ожившую гипсовую голову. Запомнил я этот рисунок чрезвычайно хорошо, а книгу с рисунком, как я понял, читала в то время моя мать.

2

Отец, у которого я все-таки решился спросить про рисунок, откинул назад голову и рассказал мне об увиденной им на представлении в театре живой голове, говорившей с блюда на столике. В его рассказе фигурировали бархат, столики, голова на блюде, зеркала, шахматные автоматы барона Кемпелена и обман зрения. Упомянул он и операции доктора Демихова, и написанный примерно тогда же роман Александра Беляева «Голова профессора Доуэля».

К тому времени я постепенно привык, что приемник в кабинете отца, который ранее был кабинетом деда, был просто дополнением к креслам, книжным полкам и старому письменному столу с черной настольной лампой. На темной ткани передней панели приемника имелось узенькое оконце с именами городов и длиной соответствующих волн, массивным переключателем диапазонов и вращающейся в поисках станции ручкой. Точность настройки указывал мерцающий на передней панели большой зеленый глаз. Звук доносился из круга, чуть более затемненного, чем остальная поверхность ткани.

Слушая иногда передачи зарубежных радиостанций, отец приглушал звук, если только это не была музыка. У него скопилась довольно большая коллекция грампластинок. Время от времени он усаживался за фортепьяно и пытался *привести в порядок свою память и руки*, как описывал он свои занятия музыкой. Список его предпочтений состоял из нескольких наиболее простых в техническом отношении сонат Гайдна и Моцарта. Занятия музыкой, по его словам, были для него чем-то вроде необходимого отдыха, отвлекавшего внимание от занимавших его вопросов. Первые свои уроки музыки он живо помнил и иногда рассказывал о том, какие надежды возлагала на него Ада, благодаря настойчивости которой он достиг определенного, хотя и не слишком высокого уровня исполнения. Думаю, отец мог бы добиться и большего музыкального мастерства, но в силу определенных причин, связанных в том числе и с обстоятельствами времени, в котором он жил, некоторые сознательные ограничения не способствовали этому: он выбрал другую, лишь отдаленно связанную с музыкой карьеру.

Отец не любил Бетховена – так, во всяком случае, он говорил, полагая его слишком эмоциональным, слишком навязывающим свое уникальное прочтение мира. Гораздо больше устраивала его меланхолическая созерцательность, она не вносила возмущений в его мир, подчиняя его чужим переживаниям и страстям. В этом его отношении присутствовала нотка горечи, свидетельство прошедшего и канувшего

в Лету увлечения. Музыка мой отец предпочитал слушать в одиночестве. Иногда он мог поставить полюбившуюся ему запись для одного из немногочисленных друзей. Порой он казался мне опытным игроком в карты, тщательно скрывавшим не только свое лицо, но и количество карт, которые были у него на руках.

В зимнюю пору отец был бледен, а летом лицо его легко покрывалось загаром, и тогда в глазах отчетливо появлялся зеленоватый проблеск. При этом он всегда был монументально спокоен, словно часовых дел мастер или осторожный энтомолог, старающийся не сдуть пыльцу с легких крыльев бабочки. Помню его высокий лоб и большие серые с прозеленью глаза, наводящие на мысль о филине. Носил он в основном черное: черные туфли, черную морскую форму и желтоватого оттенка рубашки. Его готовность медленно докапываться до мельчайших деталей заставила мать как-то раз сказать ему, что жизнь – это отнюдь не шахматная партия, после чего отец рассмеялся и попросил ее объяснить, как она пришла к этой мысли. Он хотел объяснения, досконального и точного, как запись в судовом журнале или морской лоции.

К тому времени я уже видел рисунки в его книгах по физиологии, где фигурировали собаки, лампочки и слюнные железы, и слышал школьные разговоры о нервных рефлексах, проверяемых ударами молотка по колену, анатомии, прозекторской и опытах над лягушками и мертвецами

с использованием электрических разрядов. Разговоры обо всем этом шли и в пионерлагере во время школьных каникул. Там, после того как в палатах выключали свет, неизменно говорили о временах блокады, найденных в холодце детских пальчиках и людоедстве. Возвращаясь же к обсуждению вопроса о *живом трупе* с отцом, вспоминаю, что когда, после блужданий, мы вышли наконец к источнику этой странной, по мнению отца, идеи, засевшей у меня в голове, и он объяснил мне, что волновавшее меня словосочетание есть не что иное, как название пьесы о человеке, который ушел из семьи, общества, а затем и из жизни, я, несмотря на эти объяснения, принять его всерьез никак не мог.

3

Все то, о чем говорил он, почти совпадало с тем, что я услышал от матери, и тогда я пришел к выводу, что от «толстого» просто некуда деться, и вообразил его чем-то вроде *Соловья-разбойника*, который сидит на ветке дуба, растущего где-то на *ясной поляне*.

Выслушав меня, отец понял, что меня взволновал скорее визуальный образ, образ надреальный, сюрреалистический, сочетающий несочетаемое и входивший в конфликт и с ежедневным опытом, и со здравым смыслом, и для того, чтобы я смог обойти эту проблему своего восприятия со стороны, ибо удалить ее из моего сознания было, по-видимому, невоз-

можно, он предложил мне постараться понять, как такие образы создаются, для чего мне следовало пойти в изостудию.

Его совет я принял, но поверить всерьез и полностью в объяснение, отсылавшее к разысканию принципа построения метафоры, не смог – мне хотелось понять, скрывается ли за этой метафорой что-то еще. Казалось, то был какой-то атавизм, вера в магическое, колдовское сочетание слов, способное изменить окружающую нас реальность враз, мгновенно, изменить, если угодно, до состояния абсолютно невероятно-го. Или вытащить эту скрытую в реальности возможность.

Вскоре я начал ходить в изостудию, где нас учили рисовать гипсы, драпировки и сидящие на табуретках фигуры, писать акварелью этюды на основе сделанных ранее рисунков. Но что-то в возникших на бумаге изображениях меня не устраивало, и достичь памятного с детства леденящего ощущения не удавалось. В последующие же годы ощущение, пережитое при встрече с *живым трупом*, время от времени возвращалось ко мне, возвращалось под той или иной маской, и я, осознав, что толком о нем почти никому не расскажешь, ибо тебя почти никто не поймет, научился молчать о его проявлениях. Постепенно мне стало окончательно ясно, что некоторыми своими ощущениями с окружающими делиться не стоит, а если уж делиться, то отнюдь не со всеми.

В конце концов, отец посоветовал мне вести дневник, где мне следовало день за днем описывать события своей жизни, свои ощущения и давать оценку происшедшему.

– Время от времени ты будешь его перечитывать, – сказал он, – и постепенно, по мере накопления опыта, заметишь, как меняется твое отношение к тем или иным событиям, жизненная позиция. Но запомни, – добавил он, – дневник этот ты должен писать только для себя, читать его будешь только ты, а кто-нибудь другой сможет с ним ознакомиться, только если ты сам этого захочешь. Так что будь откровенен сам с собой и запомни: слова изживаются словами.

Глава седьмая. Агата

1

Моя мать всегда была рада возможности забежать к Агате на Большую Конюшенную и в свое время не допускала даже мысли о том, что я буду заниматься французским с каким-нибудь другим педагогом. Так и произошло. Позднее с Агатой начала заниматься французским и моя подросшая к тому времени сестра, названная Норой в честь героини пьесы Ибсена. Излишне говорить, что роль Норы была одной из самых интересных ролей, когда-либо сыгранных моей матерью. Во всяком случае, так она всегда говорила. При этом она ни секунды не сомневалась, что никакого отношения к тому, что мы называем «нормальной человеческой жизнью», ни пьеса, ни изображенная в ней Нора не имеют. Однажды я слышал, как мать обсуждает эту тему с Агатой.

– Ходули, – сказала Агата. – Сегодня это совсем дико, но героические примеры нужны, моя милая, хотя бы для того, чтобы, входя в квартиру, люди вытирали ноги. Вчера к нам приходил дворник с какой-то бумагой, ты и представить себе не можешь, сколько грязи было на его сапогах...

– Они их специально грязью заляпают, а потом направляются по квартирам, сами-то в полуподвалах живут, и уж по-

верь мне, к нам на спектакли они не приходят, все больше у рюмочных толкутся, – ответила ей мать, и обе захохотали.

Ведьмы, подумал я, а Нора, должно быть, их ученица и помощница. Кстати говоря, моя мать иногда называла Агату «шамаханскою царицей». Так было и в тот день, когда она рассказывала, как Агата на одном из заседаний худсовета театра обольщала приглашенного туда завреперткома. Речь шла об очередной французской пьесе, которую Агата собиралась перевести по просьбе Алексея Николаевича, главрежа, оставалось лишь сочинить заявку с обоснованием постановки именно этой пьесы. И сделать это следовало так, чтобы завреперткома без колебаний утвердил репертуар театра на следующий сезон.

Позднее, когда я и сам начал писать для театра, Агата рассказала мне об этом эпизоде подробней.

– Да, пьесу эту отыскала я, и готова была перевести ее, но ведь по его же, Алексея Николаевича, просьбе. И никто, никто даже не посмел заикнуться о том, что главреж хочет поставить эту пьесу для Клары, та ведь мечтала о роли Грушеньки, вот так ей хотелось: из постели – и прямо на сцену в роли Грушеньки; а наш Алексей Николаевич хоть и любит коньяк, но пропил еще не все и понимал, что мечта ее может так мечтой и остаться, и дай-то бог, чтоб так оно и было. Но ведь обещал же он ей, а она грозила ему скандалом, да еще каким! И это при его положении депутата и совершенно безумной жене. Вскоре возникла у него идея поста-

вить пьесу о Грушеньке французской, которая крутит всей семейкой – и папой, и его сыновьями. При этом он умудрился внушить своей пассии, что ведь и сам Федор Михайлович писал примерно о том же. Ну а главное, говоря о реперткоме, утверждал, что спектакль этот поможет нам понять причины кризиса института брака там, на растленном Западе. Так, собственно, и сказано было в нашей заявке, и в реперткоме с этим были как будто готовы согласиться. И вот представь, Nicolas, собрались мы все на заседание худсовета, на стол подали чай и закуски в связи с присутствием человека из реперткома, ну, слегка выпили, и вот тут-то наш милейший завлит и пустился в самые нелепые рассуждения о Достоевском и половом вопросе. Боже, до чего распустились люди в ту пору! Дай им глоток свободы, и они лоб себе разобьют, лишь бы доказать, какие они дураки. И наш Борис Вениаминович туда же. Да, да, – продолжала она, – и представь себе, он начал говорить, что и сам Федор Михайлович половой вопрос никак не отменял, ну а преемник его по отношениям с Суловой вопрос этот чуть ли не в центр всего своего творчества поставил. Его и евреев, кстати, с которыми он тоже так и не смог справиться, и оттого придумал, что возлюбил. Да разве же с ним, с нашим Борисом Вениаминовичем, справишься? В него надо литр коньяка влить, прежде чем он остановится. Что же мне оставалось делать? Конечно, я попыталась обольстить этого человека из реперткома, надо было спасать Алексея Николаевича, театр, да и себя тоже...

У нас в доме Агата появлялась, когда «уставала от беготни» и «хотелось продышаться и пообщаться с нормальными людьми» – так, во всяком случае, она говорила. «У Агаты легкий язык и живой ум, – считала моя мать, – и с ее текстами легко работать...»

Мать любила посплетничать с Агатой, благо и тем, и поводов для сплетен было предостаточно, ибо в театре моей матери из-за внешности и голоса приходилось обычно играть роли трагических героинь. Возможно, именно поэтому многие актрисы любили общаться с ней и в качестве интересного материала для обсуждения не могли предложить ничего большего, чем собственные треволения и чужие судьбы.

Сплетничали мать с Агатой обычно за кофе, разливая его по чашкам из большого итальянского кофейника, привезенного когда-то из Генуи контр-адмиралом Толли-Толле, покуривая удлиненные, кофейного цвета сигареты «Фемина», которые приносила Агата. Кстати говоря, моя мать не курила, но появление Агаты изменяло тональность, настроение и даже сервировку, начиная со скатерти и заканчивая салфетками в старых серебрянных кольцах. Леняная скатерть с латвийской вышивкой и салфетки заменялись на накрахмаленные и белоснежные, на столе появлялись предметы кофейного сервиза, печенье, коробка шоколадных конфет и специ-

альные рюмки для ликеров, нарезался прозрачными долька-ми лимон.

Позднее Агата говорила, что в такие моменты она вспоминала жизнь в родительском доме, воскресные послеобеденные чаепития с рассматриванием репродукций французских мастеров, беседы за бутылкой вина и легкими закусками.

– Впрочем, – как-то сказала она, – возможно, комфорт и уют родительского дома существовали лишь потому, что мы, дети, не знали, о чем говорят родители за закрытыми дверьми. Скорее, это тоже был своего рода театр.

Что имела в виду Агата? Какие темы могли быть предметом обсуждений за закрытыми от детей дверями? Тут речь, вероятно, шла о «непролетарском происхождении» старого Стэна, об этом ему напоминали не единожды, и только его неоспоримые достижения в сочетании с прирожденным умением молчать позволили ему удержаться на плаву, при том что сам он никогда не претендовал на первые роли, отчего всегда был кому-то нужен и удобен. Так, во всяком случае, говорила Агата. Особенно опасным могло быть упоминание имен Троцкого и Зиновьева в связи с подписанной Старокопытиным «охранной грамотой». Замалчивались и всевозможные вопросы, связанные с прошлым бабки, которая официально именовалась Адой Аркадьевной Стэн.

Дед, правда, сказал однажды, что поскольку отца ее звали Арье, то логичнее было бы воспользоваться переводом этого имени с иврита, и тогда бабку следовало бы называть

Адой Львовной, но отнюдь не Аркадьевной, что совершенно неоправданным образом привносит в действительность отенок счастливого пастушеского существования. Впрочем, оставим это высказывание на его совести. Итак, все менялось, и со временем даже остатки польско-еврейского акцента в речи бабки почти исчезли, нивелировались, ведь у нее был прекрасный слух, она продолжала играть на фортепьяно, как во времена своей молодости, и часто ходила с дедом на концерты в филармонию. Зная ее прямой и несколько взбалмошный характер, объяснявший с точки зрения деда весь ряд событий, предшествовавших ее появлению в Петрограде, он полагал, что ей никак нельзя работать, вследствие решительно изменившейся с первых послереволюционных лет атмосферы во всех государственных и общественных учреждениях.

– Она погибнет, но не одна, а вместе со всеми нами, пусть лучше сидит дома, – сказал он как-то раз Агате.

В конце концов бабка начала давать уроки музыки, просто для того, чтобы общаться с любящими музыку детьми, такая форма общения ее вдохновляла. Что касается Агаты, которая сильно ее напоминала, то стоит отметить, что тетка моя была гораздо гибче бабки в суждениях и менее предсказуема в поступках, не раз нарушая те или иные писанные или неписанные законы. Ей нравилось плести интриги и реализовывать планы, что для нее было практически одним и тем же. Переводы и работу в театре воспринимала она как

единственную данную ей возможность побега от удручавшего ее окружения, которое нуждалось в театре как в средстве общественной терапии.

– Я не могу сидеть на этих собраниях, где они бесконечно что-то поддерживают: Кубу в ее борьбе с империализмом, танки, которые помогают строить социализм в Чехословакии, и даже общественников, которые по субботам добровольно подметают улицы или делятся своей кровью с нашими арабскими друзьями. Но после смерти этого чудовища мы все-таки повернули в сторону какой-то нормальной жизни. Достаточно посмотреть на наш репертуар. Конечно, все происходит медленно, но нам и не стоит спешить после такого безумного начала. Мы серьезно больны, милая, – говорила она матери, – вот и Саша так же считает, но если мы не можем отправлять всех подряд к психиатрам, так пусть хотя бы ходят в театр. У нас люди смеяться вообще не умеют, – сожалела она. – Впрочем, есть от чего... Им просто необходимо кого-то ненавидеть.

– И тянется это с незапамятных времен, – поддержала ее моя мать. – А Толстой об этом или почти ничего и не пишет, или объявляет это правильным и естественным, а ведь когда князь Багратион заявил, что в генштабе кругом одни немцы, так что русскому человеку и жить невозможно, Барклай ответил ему: «А ты дурак, хоть и считаешь себя русским». Ты же это помнишь, Агата? – и она, отставив чашку, посмотрела на нее.

– Ну конечно, милая, – ответила Агата и засмеялась.

Несмотря на абсурдность вопроса, прозвучал он вполне естественно, так, словно мать действительно интересовало, помнит ли Агата сей эпизод русской военной истории. Мать моя любила разыгрывать подобные сценки, происходившие от естественного для нее желания быть в центре внимания. Она никогда особенно не жаловала людей *per se*, и мне всегда казалось, что ее уход в театр был, в сущности, выражением именно этой стороны ее отношения к жизни.

В их отношениях с Агатой присутствовал, как мне иногда казалось, элемент влюбленности, смешанный с толикой радости, проистекавшей от ощущения стабильности и комфорта общения. А иногда, помню, я думал о том, что Агата и мои родители представляют собой некое странное сообщество, неполную, но стабильную конфигурацию близких и любящих друг друга людей. Иных подруг Агаты я не припоминаю, хотя они у нее и были, но женщины вообще ее мало интересовали. Замужем Агата никогда не была – ей нравилось быть независимой. Она пользовалась вниманием мужчин, но не пыталась женить их на себе. Она была умна и никогда не злоупотребляла своими успехами. Она была кошкой, гуляющей сама по себе. Возможно, потому, что она снисходительно относилась к мужчинам. «Они бесконечно заняты своими мужскими играми, – говорила она, – меряются, у кого длиннее...»

К институту семьи Агата относилась с почтением. «Семья

– это нечто святое, – говорила она, добавляя: – но семейная жизнь – это то, к чему я, наверное, просто не предрасположена».

Агата никогда не была злой. Мне иногда казалось, что ее «легкомыслие» было не чем иным, как проявлением мудрости. Оттого, наверное, у Агаты было немного друзей, еще меньше подруг, и ее, в отличие от многих других преподавателей, любили студенты. Самые интересные студенты удостоивались приглашения к ней домой. Именно там, в квартире на Большой Конюшенной, познакомился с Андреем ее бывший студент Сергей Лец-Орлецов.

Глава восьмая. Любимые предметы

1

Ни я, ни моя младшая сестра не блистали на академическом поприще. Мне казалось, что никаких уроков интереснее истории и географии в школе нет и не может быть. Нравилась мне и литература, но я любил ее какой-то иной любовью, не той, что нам пытались вбить в голову в посвященные этому предмету школьные часы. Я много и без разбора читал, а еще учился писать и думать, заполняя страницы дневника взмахом нахлынувшими соображениями, но об этом я умолчал и долгое время никому ничего не говорил, следуя укреплявшейся с годами привычке додумывать мысли в одиночестве.

То, что алгебра и тригонометрия не давались моей сестре, принималось как нечто совершенно не нарушающее порядок вещей, мой же случай воспринимался как нечто из ряда вон выходящее. Но, как это было установлено позднее усилиями школьных педагогов и парой репетиторов, не то чтобы я был никак не способен к освоению этих премудростей, нет, они меня просто абсолютно не интересовали, и вот это отсутствие интереса я никак не мог преодолеть. Мне, в сущности, было решительно все равно, пересекаются параллельные

прямые или нет или сколько прямых, параллельных данной, можно провести через точку на плоскости вне данной лежащей на плоскости прямой.

После школы я начинал безнадежные битвы с домашними заданиями по алгебре, тригонометрии и геометрии. Вел я их за письменным столом в своей спальне. Мало интересовали меня и другие науки, скорее притягивали мое внимание какие-то практические вещи, такие как фонарики, «динамка» на велосипеде, заставлявшая фонарик светиться, и стрелка компаса. Все эти предметы казались мне весьма интригующими и таинственными. И когда лет в четырнадцать-пятнадцать я заинтересовался возможностью поступить в мореходку, а произошло это после нашей поездки в Севастополь, отец посоветовал мне не делать этого. «Это не для тебя, – сказал он, – лазать по вантам и по реям – это одно, а заставят тебя изучать геометрию, чистить картошку и мыть пол в казарме, и ты все возненавидишь. Коллектив и служба, а главное, дисциплина – это не твое. “Не можешь – научим, не хочешь – заставим”». Как тебе такая формула?» – спросил он.

Таким было его окончательное суждение, которое я, внутренне с ним соглашаясь, не готов был принять в качестве руководящего принципа.

– Проблема не в том, что ты чего-то не можешь, – говорил отец, – просто у тебя понижен интерес к достижению цели в коллективе. Ты выбираешь тех людей, которые тебе интересны, остальные тебе безразличны или даже антипатичны.

Ты – индивидуалист. И это ничем не изменишь.

Разговор наш проходил в комнате с эркером. Она располагалась на отшибе, между столовой и просторной адмиральской спальней, позднее превращенной в малую гостиную, и именно в этой примыкавшей к столовой комнате проводил я большую часть дня в те годы, туда устремлялся немедленно по завершении своих битв с означенными предметами.

Однажды еще на подходе к малой гостиной услышал я голос матери.

– Его девушки интересуют, – сказала она, что явилось для меня полной неожиданностью, – да и женщины тоже. Он думает, я не заметила, как он рассматривал Клару Анцишкину на прошлой неделе? Она ко мне забежала попить кофе и поболтать, – сообщила она отцу. – Мы с ней усаживаемся, кофейник на плите, а я собираю пирожные на любимый мейсенский поднос, чтобы поставить его вот на этот столик, вместе с кувшинчиком для молока и чашками, и тут появляется этот, – клянусь, она хотела сказать «увалень», это слово она часто употребляла, но в последнее мгновение заменила его на «добрый молодец», – так вот, появляется этот добрый молодец, смотрит на Клару, а она все еще хороша собой, и, поверь мне, Саша, с места сойти не может! – Мать засмеялась. – Как быстро растут дети!

Глава девятая. Елена Толли-Толле

1

Ни в церковь, ни в кирху, ни в костел моя мать никогда не ходила, по вопросам веры не высказывалась, хотя и говорила не раз, что следует уважать чувства людей, относя таким образом самые главные и самые последние, как говорил один писатель, вопросы к сфере чувств.

Иногда, впрочем, какие-то высказывания открывали совершенно неожиданные для меня стороны ее мировосприятия. Происходило это чаще всего в процессе ее общения со знакомыми – с нами, детьми, она была достаточно предсказуема. Другой она становилась и во время бесед с отцом, заметил я это еще в детстве и не переставал удивляться, всякий раз заново открывая для себя то объединявшее их таинственное чувство, что никуда и никогда не исчезало из их жизни. Впрочем, по общим вопросам у родителей моих не было противоречий. Более того, они не спорили вообще, во всяком случае при нас, и ни моя сестра, ни я ничего, подобного спору или скандалу, припомнить не можем.

Иногда, помню, я заставлял их погруженными в беседу; говорили они обычно у отца в кабинете, сидя в глубоких кожаных креслах под старым торшером, тускло поблескиваю-

щим медным стволом на имперских ножках. В такие мгновения лица их казались мне изменившимися, иными, какие-то маски словно отлетали с них, то были лица не для всех – они предназначались друг для друга. В них было меньше озабоченности и отблеска внимания посторонних или просто других людей; может быть, в случае матери расхождение это между ликом и личиной проявлялось даже более заметно, чем в случае отца, хотя бы и потому, что множество ее личин всегда несло в себе какую-то легкую тень, отпечаток или исчезающее послевкусие, привносимое ее профессией.

Отчего-то вспоминаю я контр-адмирала, отъезд его в Севастополь и ремонт в квартире на Петроградской, начавшийся чуть ли не на следующий день после нашего возвращения с вокзала. Ремонтом мать руководила сама и превратила наш дом в светлое, просторное и удобное жилище, потребовав убрать первым же делом массивные темные деревянные панели, прикрывавшие стены в высоту человеческого роста.

«Мать бежала от него к отцу», – подумал я, очертив фигуру контр-адмирала темным, как дубовые панели, и неопределенным местоимением. Она умела быть неожиданной, могла и промолчать, а при необходимости – сглаживать острые углы. Ее молчание было выразительным, то были люфт-паузы – театральный термин, который я знал еще с юности. Мир ее чувствований оставался для меня тайной. Постепенно, однако, привык я к тому, что объяснений каждому событию с ее участием может быть несколько, что вовсе не означало непо-

следовательность или причуды, напротив, она была последовательна и предсказуема, как перемены погоды.

В школьные годы один из ее из одноклассников, позднее ставший известным актером, придумал шуточные строчки:

Толли – дождик, Толле – снег,
То ли будет, то ли нет...

Узнал я об этом случайно, разглядывая выпускную фотографию класса, в котором она училась.

– А вот этого человека ты узнаешь? – спросила она, указав на стоявшего во втором ряду юношу, который смотрел не в объектив фотокамеры, а несколько поверх его. Мне показалось, что я видел обладателя этого взгляда в кино, в роли офицера русского флота. Мать подтвердила мою догадку, это был известный актер. Отчего-то показалось мне, что мать была в него влюблена в юности, а возможно и позднее, когда они работали в одном театре. Спросить ее об этом прямо я так и не решился.

Наверняка об этой стороне жизни матери моя сестра знала больше, чем я; ее отношения с матерью были более близкими и доверительными. Когда сестра подросла, мать иногда советовалась с нею и только после этого объявляла нам, мужчинам, о том или ином своем предложении. Оттого, возможно, я называл сестру «министром без портфеля». Выражение это

мне ужасно нравилось еще с тех пор, когда я учился в школе и приходилось таскать портфель с учебниками, пеналом, завтраком и спортивной формой. Портфель был обременителен, он усложнял поездки в трамваях и автобусах, он пропадавал, рвался порой, да и вообще был обузой. Именно поэтому, я полагаю, выражение это и звучало столь прельстительно для моего уха. Мир «министра без портфеля» был очерчен ясно. Итак, ты министр, но носить с собой портфель не надо – прекрасно, не правда ли?

Теперь я думаю, что стать «министром без портфеля» сестре помогло то обстоятельство, что после трех проведенных в Крыму лет она превратилась в достаточно крупную, уверенную в себе и в важности своего пребывания в этом мире девицу. Разговаривая, она любила использовать выражения типа «когда я болела», «когда я лечилась» и тому подобное, добавляя при этом следующие обороты: «я была так невыносимо одинока», «мне казалось, что я никогда не вернусь домой» и «ты мне снилась по ночам», – и все это, конечно же, обращено было к матери, и моя мать, игравшая обычно роли сильных и незаурядных женщин, невольно сжималась и становилась ощутимо меньше на вид, при том что теперь, по возвращении из Крыма, Нора хотела следовать ей во всем.

Кстати сказать, Крым, куда я ездил вместе с родителями, чтобы навестить Нору и деда с бабкой, подействовал на меня неожиданным образом – я начал сочинять стихи, это была

первая моя встреча с южными ночами над темным мерцающим морем.

Глава десятая. Нюрнбергские законы

1

Отношения между представителями разных поколений Стэнов и Толли-Толле никогда не были простыми. Что же стояло за ними? «Ах, многое...» – сказала бы моя мать, она всегда использовала именно этот оборот, когда ей не хотелось разбираться в деталях какой-либо проблемы и анализировать ее, словно все это было так же далеко, как, скажем, Северный морской путь с его льдами и торосами.

«Как? Стейн?» – спросил в свое время контр-адмирал Толли-Толле, выдав свою всегдашнюю настороженность. Указание на то, что фамилия моего отца Стэн, а не Стейн, его не успокоило, и, узнав о еврейском происхождении Ады, матери моего отца, он сказал: «Ну, я же говорил...» Однако в защиту выбора дочери выступила ее мать, Аустра Яновна, заявившая своему мужу, что с его взглядами следовало бы жить где-нибудь на далеком хуторе в Латгалии, а не в Ленинграде. Не выдержав противостояния с ней и дочерью, контр-адмирал сдал позиции.

С отцом я эти вопросы не обсуждал, что до Андрея, то он контр-адмирала не просто недолюбливал, а третировал как-то по особенному, припомнив однажды известные сло-

ва Черчилля о тех, кто точит штыки во мраке арктической ночи, механически повторяя слова философии ненависти и насилия. Иногда мне казалось, что мой дед с материнской стороны был бы, в принципе, не против последовательного применения нюрнбергских законов для определения расовой чистоты. «Андрей – внутренний еврей, – не раз говорил он уже после отъезда Андрея за границу, – но это естественно, ведь его мать еврейка».

Старого Стэна с точки зрения контр-адмирала как бы и не было, он не существовал и ни в какие уравнения никак не входил. Отец мой, согласно его воззрениям, был криптоевреем, в то время как я был просто не пойми чем, ибо в моем случае немецко-латышская кровь моей матери была смешана с криптоеврейской. Впрочем, скорее всего, и адмирал, и его жена меня любили, но любили как-то сдержанно и осторожно. Они меня внимательно разглядывали, так мне всегда казалось. А вот к Норе они были расположены самым искренним образом. Возможно, отношение их ко мне предопределено было тем, что я был старшим ребенком их дочери, появившимся на свет вскоре после вступления ее в брачный союз, никак не соответствовавший их ожиданиям. Ко времени рождения Норы они несколько смягчились, им пришлось примириться с выбором единственной дочери, у которой к тому же родилась собственная дочь.

Надо ли дальше объяснять причины того, что мне нравилось бывать на Большой Конюшенной?

Когда пришла пора получать паспорт, я, естественно, уже привык к тому, что из-за непривычно звучащей фамилии меня порой принимают за еврея. Правда, как мне объяснили однажды, вопрос о моем происхождении возникал в сознании слушателей, стоило мне только заговорить. Не то чтобы я картавил, или говорил с какой-то характерной для человека с еврейской кровью интонацией, или, например, неправильно говорил по-русски, – нет, я, по-видимому, увлекшись, бывал недостаточно молчалив для уроженца северных широт. С годами, впрочем, я стал больше ценить прелесть пауз и выгоду молчания.

Изредка мне приходилось вежливо объяснять интересующимся, что я, разумеется, русский, правда из тех русских, предки которых попали в Россию из Западной Европы, но объяснения мои звучали, по-видимому, не столь убедительно. Иногда мне просто говорили, что есть во мне что-то от еврея, и тогда я, естественно, рассказывал о том, что мать моего отца, бабка Ада, была еврейка. Я, как и мой отец, выгляжу скорее арийцем, чем евреем, у меня крупные и правильные черты лица, прямой неширокий нос, и я достаточно высокого роста. Более того, я действительно ощущаю себя русским, пусть и с некоторым вывихом, просто потому, что живу в России и не знаю, кем иным я мог бы себя вообразить;

я считал и считаю эту страну своей хотя бы по той причине, что никакого желания жить в другой никогда не испытывал.

3

И в облике, и в характере отца моего всегда присутствовала одна трудноопределяемая черта, скорее, импульс, какое-то несформированное, но готовое проявиться движение или элемент эмоциональности, который, я полагаю, в моем облике отсутствует. Однако, несмотря на порой приписываемую мне инертность, я могу и взорваться, то есть уложить выброс энергии в чрезвычайно короткий интервал. Этому научили меня занятия спортом. Начались они с того, что еще в ранней юности я приобрел гантели и занялся длительными и тяжелыми упражнениями. Вскоре отец отвел меня к известному в то время тренеру по плаванию.

– Тебе следует развить длинное дыхание, – объяснил отец, – и ничто не поможет лучше, чем плавание... Жизнь наша устроена так, что без длинного дыхания не обойтись... Без него ты не достигнешь никакой цели...

Позднее мне пришлось расплатиться за успехи в плавании – мое личное дело оказалось в отдельной стопке папок на столе, за которым сидели члены призывной комиссии. Стопка была составлена из папок с документами спортсменов-разрядников. Как ни странно это звучит, я подумал, что

мне повезло, – меня не направили служить во флот, где срок службы на год больше. Думаю, что получилось это из-за сочетания непривычной русскому слуху фамилии и разряда по плаванию.

– А ты, Стэн, – немец? – спросила меня после одного из занятий в бассейне Ната Стрелкова; она мне нравилась, да и я, как видно, чем-то заинтересовал ее, и через некоторое время, после того как я проводил ее домой, там же, у нее дома, состоялось мое первое серьезное знакомство с карнальными аспектами познания мира. В ту пору, когда я занимался плаванием, считалось, что из Наты выйдет выдающаяся спортсменка, тогда она действительно подавала большие надежды, но спортивная карьера ее не сложилась, и ко времени моего возвращения из армии она превратилась в довольно известную валютную проститутку.

4

С годами я понял, что мои родители принадлежали к особой породе людей, осознанно вошедших в жизнь уже после войны, совпавшей с их молодостью. Люди эти принимали жизнь непосредственно, так, как она происходила, как была задана. Скорее всего, это было следствием военных лет, того тотального неустрашимого опыта и переживаний, которые не вмещались в какие-либо известные и привычные рамки. Так же они жили и в послевоенные годы. Именно на этих ощу-

щениях и переживаниях возникли и выросли питавшие их чувства. Они, пожалуй, всегда ощущали и осознавали себя частью некой общности. Даже в поздние годы мать любила вспоминать, что служила в известном русском театре, а отец, я думаю, гордился причастностью к военно-морскому флоту – однажды в качестве судового врача ему довелось принять участие в одном из кругосветных плаваний базировавшейся в Мурманске подводной лодки. Материалы психологических обследований, предпринятых им в ходе плавания, легли в основу его кандидатской диссертации, которую он защищал перед закрытым ученым советом Военно-медицинского института.

Конечно, нельзя сказать, что он не видел того, что происходило вокруг, но жил он под явным впечатлением от той неизмеримой мощи, которой служил, оттого, возможно, и в поведении его, и в стиле общения присутствовала примесь этакой военно-морской бравады, вызывавшей у меня легкую зависть и восхищение. Возможно, что и сама эта почти юношеская по характеру бравада связана была с ощущением выхода в открытые воды, в пространства, недостижимые для рядовых обитателей нашей закрытой страны.

Вскоре после окончания корейской войны ему пришлось изучать критерии отбора моряков для долгих подводных плаваний. Типы подводных лодок менялись, менялось их оснащение, менялись боевые задачи и сроки, на которые уходили они в море. Однажды отец рассказал мне, что были

когда-то в нашем подводном флоте субмарины, которые наши мариманы называли «Ваня Вашингтон» по ассоциации с американским аналогом, и вот с этим-то типом лодок, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками, и связан был вопрос об употреблении плавсоставом красного молдавского каберне. Считалось, что оно помогает организму преодолеть негативные последствия радиационного фона, создаваемого ядерными боеголовками и двигателями лодок, лежащих в ходе боевого дежурства под водной толщей у берегов враждебных нам государств.

Морякам, долгое время находившимся под водой, полагалось по триста граммов красного молдавского каберне в день, но пить свою порцию ежедневно за обедом они не хотели и потому объединялись в группы по пять человек, чтобы каждому раз в пять дней доставалось в пять раз больше вина. Счастливчик выпивал свои полтора литра и засыпал на койке. Пока лодка была в походе и каждый пятый на борту лежал на своей полке мертвецки пьяный, все было еще ничего, с этим можно было мириться, ибо активная, требующаяся в походе работа отвлекала остальных от питья. Однако с того момента, когда лодка добиралась до места назначения, начальство, естественно, старалось изыскивать для команды какие-то заполняющие время занятия, но делать мариманам, в сущности, было нечего, они должны были просто ждать того момента, когда лодке в силу исчерпанности ресурса приходилось сниматься с дежурства и плыть обратно на базу.

Существование в режиме ожидания было чревато превращением лодки в подобие занесенной снегом дежурки – ситуация, знакомая мне по тому времени, когда я попал служить во внутренние войска и сторожил заключенных. Режим потребления вина менялся, делать было особенно нечего, и накопившиеся за время подводного перехода озлобление и неприязнь начинали искать себе выход.

Понимание динамики существования коллектива, разбитого на небольшие группы, проблемы выявления подлинных лидеров и многое другое – вот вопросы, занимавшие в то время моего отца. Помню разнообразные построенные по его идеям электрические схемы с по-разному дрожащими стрелками приборов, установленных перед каждым участником проверочных испытаний. Каждому из них предлагалось привести колебания стрелок в определенный режим при помощи манипуляций с различными управляющими рычажками. Проблема состояла в том, что, начиная действовать, каждый пытался навязать системе взаимосвязанных приборов собственную стратегию, навязывая ее попутно и всем остальным участникам, так что после окончания стадии хаоса в коллективе появлялся лидер, диктующий всем остальным участникам свою стратегию управления неустойчивым состоянием стрелки. Более того, отца интересовали определенные, поставлявшие лидеров психологические типы участников подобных экспериментов.

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался? —

вспомнил он однажды услышанные от одного из испытуемых строчки. Думаю, что в этих строчках и заключалась его, с позволения сказать, философия. Присутствовал в ней и своего рода медицинский фатализм, обусловленный всем его образованием и годами работы с плавсоставом. Более того, могу сказать, что отец мой был «человеком коллектива»; во всяком случае, в отличие от меня — а меня он определял как индивидуалиста, — он свою жизнь вне коллектива не мыслил и, обладая сильным характером, никогда не проявлял анархистских наклонностей.

Я пью за военные астры... —

вот строчка, которая преследует меня, когда я начинаю о нем думать, при этом «военные астры» сплетаются в моем сознании с хризантемами из его корейского прошлого. Правда, однажды, рассуждая о прошедшей войне, он неожиданно процитировал известную строфу из десятой главы «Евгения Онегина»:

Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

Прозвучала она как признание того, что на некоторые вопросы ответа просто нет. Так думали не только он и мать, но и многие другие люди их возраста и круга.

Мы же с Норой, их дети, оказались людьми, рожденными как бы на выдохе времени, и именно поэтому искали в жизни чего-то другого. Вспоминая многократно произнесенные матерью слова Станиславского: «Театр – это здесь и сейчас», я не мог не согласиться с тем, что для родителей наших мысль эта в применении ко всей жизни была совершенно неоспоримой частью их жизненной философии. Для нас, как и для Андрея, все связанное со «здесь и сейчас» было подернуто маревом и дымкой сомнения.

Глава одиннадцатая. В мастерской Андрея

1

Потом все уйдет, сотрется и исчезнет из памяти или окажется погребенным под ворохом многочисленных фактов, материалов и слов, и среди всего исчезнувшего окажутся, возможно, и те немногие живые детали и связи, без которых Андрей для меня невыносим, ибо он, в конце концов, был частью какого-то места, живого узла, человеческих связей и общей атмосферы времени, то есть всего того, что в первую очередь поглотят темные и холодные воды истории. При том что картины его и графические работы останутся, и именно по ним, отталкиваясь от них, будут судить о нас люди новых времен.

Были ли его талант и дарование «камерными»? Был ли он «субъективным летописцем»? Визионером? Клоуном и пьяницей? Искусным имитатором? Или мастером? И по какой шкале следует измерять его достижения? В какое прокрустово ложе впихнуть? Иногда он представляется мне кем-то вроде художника далекой заморской экспедиции, из тех, что привозили зарисовки с неизвестных дотоле земель. Ино-

гда я ощущаю, что предан ему больше, чем всем остальным своим близким, но кем он был? Пассионарием? Или безумцем? Какова, в сущности, изначальная природа той эльфической, воистину нездешней энергии, что была присуща ему? О чем думал он, глядя из окна своей мастерской, выходящей в глухой двор? Что рисовалось ему, какие образы возникали в потеках на облупленных сырых стенах? В дрожащих от холода неоновых рекламах той поры? В выписанных бледным неоновым огнем вензелях «Рюмочной» и «Телеателье»?

В годы моей молодости кое-кто считал Андрея Стэна сумасшедшим, но таковым, по моему мнению, Андрей никогда не был. Городским сумасшедшим, безумцем – отчасти да, может быть, но безумцем клиническим – вовсе нет. К тому же время от времени он слегка приоткрывал разные стороны своей личности, пожалуй, то был случай многоликости, какой-то редкой способности к перевоплощению, одарившей его возможностью вдохновляться самыми различными событиями и литературными произведениями, в эту широкую категорию я включаю и написанные для театра пьесы. Источником же недоразумения и поспешных суждений были его искренность и почти детская непосредственность в сочетании с умением нашего героя раздуваться, причем метаморфоза сия происходила обычно практически на глазах у его собеседников.

Не раз знакомые говорили мне, что стоило им начать не

соглашаться, возражать или хотя бы усомниться в справедливости того, о чем увлеченно и порою даже вдохновенно рассказывал Андрей, как он практически на глазах у собеседника раздувался в огромную лягушку, квакал, краснел, потел и улыбался...

Мне же казалось, что это в основном вопрос восприятия. Обидевшись, Андрей просто надувал губы так, что они становились пунцовыми, притягивая взгляд собеседника; и в этот момент в нем проступало что-то от клоуна, облик его становился и загадочней, и значительней, провоцируя людей неискушенных на наивные, в сущности, замечания о его способности раздуваться.

С виду Андрей был маленький, испуганного вида, стремительно располневший после тридцати человек с синими глазками, с остатками некогда пепельной шевелюры и большими залысинами, время от времени рассказывавший знакомым и товарищам те или иные забавные сведения или просто анекдоты из истории живописи. Маленькие глазки его становились при этом ослепительно синими, белки приобретали желтоватый оттенок по странному закону дополнительных цветов, взгляд метал молнии, и Андрей начинал преобразовываться в описываемых персонажей, а они при этом, оставаясь узнаваемыми, приобретали странные, необычные характеристики. Он принадлежал к тому типу людей, которые всегда окружены заинтересованными слушателями. Одним из них был я, выделенный его покровительственным отно-

шением, включавшим, по-видимому, и принятие факта нашего родства. Меня при этом знакомые всегда называли по фамилии – Стэн, редко добавляя после этого мое имя – Коля; его же всегда называли полным именем – Андрей Стэн.

Мне мой брат всегда напоминал волчонка с тяжелым характером. Озлобленный на всех и на все, он всегда готов был к отпору, была в нем определенная сумасшедшинка. Нашего деда он недолюбливал. «Провел всю жизнь в страхе, – сказал он однажды, – да еще и помогал продавать картины из Эрмитажа».

Сблизились мы постепенно. Лет семнадцати, уже окончив школу, я начал заходить к нему в мастерскую. Ему было чуть больше тридцати в ту пору, до этого мы не раз встречались у Агаты, но он обычно куда-то спешил – не любил присутствовать на семейных торжествах. Иногда я встречал его на выставках, в музеях и на лекциях.

Однажды он спросил у меня,

– Ну хоть стихи-то ты пишешь?

– Пишу иногда, – признался я, – когда мы на даче или в отъезде. А как придет мысль, что пора возвращаться в Питер,

К знакомым лицам в потеках и сырости,

К зеркалу тусклому и калашам, —

отчего-то начинаю писать стихи...

– Ну, может быть, прочтешь что-нибудь еще? – предложил Андрей.

– Хорошо, – согласился я.

Из написанного мною в Крыму стихотворения о саде понравились ему последние строфы:

Гора сырой ступенью сада
Спустилась в моря синий гул.
Пятнистые кусты раздвинув,
Соленый воздух сад вдохнул.

Где лестница к земле клонится
И бредит листьями ограда,
Вдыхает солнечные блики
Сырая туча винограда...

Помню, он посмотрел в окно на глухую стену напротив, а затем обернулся ко мне и заключил:

– Оказывается, ты настоящий романтик.

– Ну не знаю, – ответил я.

– А ты не огорчайся, – сказал он с удовольствием, – эта порода людей никогда не исчезнет.

2

Однажды я застал Андрея у нас дома. Приход его, как ока-

залось, был связан с его театральными планами. Начинал он в Мухинском училище, занимался книжной графикой, но затем продолжил обучение в классе великого Н.П. Акимова и стал театральным художником. Он сделал несколько успешных спектаклей, но отношения с людьми театра у него не складывались – так, по крайней мере, говорила моя мать, – возможно из-за его характера, возможно из-за того, что он слишком серьезно относился к своей работе.

Итак, вернувшись однажды домой после занятий в институте, я застал Андрея, оживленно беседовавшего с моей матерью. В то время она уже принялась искать подходы к роли Гертруды, работа над спектаклем началась задолго до выхода приказа по театру, художника на эту постановку хотели пригласить со стороны, и сама мысль о возможности подобной работы Андрея весьма вдохновила.

В ту пору я уже интересовался театром, жизнь на сцене представлялась мне единственно подлинной, а изо всех пьес более всего волновал меня «Гамлет», оттого, возможно, что внутри самой пьесы появлялись бредущие по берегу моря актеры, – боже, как все это напоминало наше взморье, сосны, дюны и зависшее над горизонтом северное солнце.

Как-то, помню это отчетливо, дело было летом, довольно плотная туча, хоть и не объемная, заслонила солнце, небо под тронутым желтизной краем тучи стало фиолетовым, и из-за нее опускались на воду лучи, потоки света, перемешивая желтые и фиолетовые полосы.

Надо ли объяснять, с каким интересом прислушивался я к разговору матери с Андреем. Похоже было, что Андрей воспринимал пьесу так, словно навеяна она всей нашей питерской жизнью. Ему казалось, что Гамлет, в сущности, борется с собственной скукой и пошлостью жизни.

Из пояснений матери после ухода Андрея получалось, что он представлял себе весь спектакль как разворачивающиеся на морском берегу сцены. Виделся ему песок, бредущие вдоль воды актеры, коридоры и залы Эльсинора, пустые черные каминные и могильщики.

– Это должен быть спектакль о мировой скуке, – заявил он через несколько дней у себя в мастерской, – той скуке, в которой мы живем. В конце концов, пьеса эта разыгрывается почти в каждом доме, каждый день. И еще, в сущности, это пьеса о театре, – продолжал он, – о том, что одни и те же пьесы разыгрываются вновь и вновь, достаточно поменять лишь несколько строк, как в той вставной пьесе, которую разыгрывают актеры по просьбе Гамлета.

Мысль эта меня захватила, но я и виду не подал. Была у меня такая привычка: молчать о том, что по-настоящему волнует, внимательно слушать то, о чем говорят другие.

– В этом безумии есть своя система. Он мог бы стать могильщиком этой постановки, – заявила мать после ухода Андрея. – Может быть, даже хорошо, что ему не дадут делать

этот спектакль. Это был бы крах его театральной карьеры. Он сосредоточился на тюрьме и скуке. Никто на это не пойдет, – призналась она.

Я понял, что мать была озадачена и даже слегка напугана его идеями по поводу постановки «Гамлета», это стало ясно, когда она объяснила мне, что спектакль делается для актеров, а не ради какого-либо нового прочтения.

– Наш Алексей Николаевич уже в том возрасте, когда необходимо браться за Шекспира, – говорила она медленно, – иначе получается, что он как бы и не сложился, и не созрел, и театр под его руководством еще и не вырос достаточно. Ведь мы, в конце-то концов, обслуживаем его интересы, и так оно всегда и было, потому-то и Клара, оглядевшись, прыгнула к нему в постель. И тут появляется Андрей со своей идеей о том, что жизнь наша – тюрьма и скука, которая хуже, чем тюрьма, но, собственно, ее и составляет. Кому же, ты думаешь, нужно это? Нашему Алексею Николаевичу? Или реперткому? Или еще кому-то? Никому! – ответила она на свой же вопрос, не ожидая какой-либо реплики ни от меня, ни от Агаты. – Вот если бы Андрей был режиссером, имел свой театр, дожил до седин и получил награды и премии, вот тогда он смог бы начать играть в свои игры, да и то осторожно... А так... – она внимательно посмотрела на меня и неожиданно произнесла усмехнувшись, причем в глазах ее промелькнуло что-то малознакомое: – Я ведь тоже не прочь сыграть Гамлета, но сейчас такие эксперименты не

в моде, хотя Саре Бернар это дозволялось.

Итак, Андрей бунтовал и оттого выглядел странным, даже инфантильным, отказываясь играть в принятые его окружением игры по правилам, понятным всем, а моя мать, готовившая роль Гертруды, принадлежала к тем, кто эти правила игры осознал и принял.

Глава двенадцатая.

Мои университеты

1

В армию я попал вскоре после того, как меня исключили из пединститута.

Чем мне на самом деле хотелось бы заниматься, в свои студенческие годы я представлял неясно и оттого посещал лекции и занятия на отделении иностранных языков в одном из располагавшихся вблизи от набережной Мойки корпусов пединститута. Поступил я туда для того, чтобы избежать призыва в армию – в пединституте имелась военная кафедра. С товарищами тех лет встречались мы у памятника Бецкому во дворе, перед зданием бывшего Воспитательного дома.

Один из них, работая позднее истопником, стал поэтом, другой со временем превратился в фарцовщика, а третий, Саша Картузов, известный множеству крутившихся в центре людей под кличкой Картуз, собирался стать театральным режиссером. С ним мы время от времени устраивали «разгрузочные дни», то есть направлялись в Эрмитаж, на очередную выставку или просто слонялись по залам в поисках

чего-то незамеченного или непонятого ранее: неожиданных выражений лиц на портретах, странных жестов, необычных пейзажей и тому подобных явлений. Картуз, например, любил разглядывать мумии в нижнем этаже музея и утверждал, что одна из них, алтайская, является мумией его предка.

История эта стала широко известна в нашем кругу особенно после того, как он ввел обычай «пить за мумию», – многим из этого отнюдь не формального сообщества это напоминало о московской мумии, лежавшей в мавзолее. Обычно Картуз предлагал этот тост и в случае необходимости пускался в объяснение легенд, связанных с его родословной и созданием археологической коллекции Эрмитажа.

Дед его был известный археолог, много копавший в Сибири, и Картуз любил рассказывать, как однажды во сне его деду явился человек с длинными, заплетенными в косы рыжеватыми волосами, живший в Сибири за почти четыре тысячелетия до нашего времени. Человек этот поведал деду о том, что, нарушая покой своего предка, тот обрекает потомков на страшные страдания.

– Оттого и пью, – пояснял Картуз, поблескивая разбойничьими глазами, – что не вижу в будущем ничего хорошего. Но вы ведь не откажетесь выпить со мной за мумию? Здоровья мы ей пожелать не можем, но выразить свое уважение должны! – восклицал он, вставая.

На девушек, которых мы водили пить пиво, это порой производило сильное впечатление. Если же рассказ о му-

мии не достигал нужного эффекта, Картуз обычно менял манеру и тон повествования на более меланхолический и через некоторое время предлагал честной компании выслушать мое стихотворение о Гамлете:

Облезлой львицей с гобелена
Спустилась Англия ко мне,
И на Офельины колена
Я голову склонил во сне.

И снова старый сон приснится,
И тень отца предстанет мне,
На колеснице
Я понесусь на взморье...

Пыль садится
В камине, углями пустом,
И Фортинбраса барабаном
Трамвай грохочет за мостом...

Читал он его, нажимая на последнюю строфу стихотворения. Меня это забавляло, своих стихов я несколько стеснялся.

2

Отчислили меня из института за драку, вернее сказать, я

«оскорбил действием», точнее ударил ногой по заду, освобожденного секретаря нашей комсомольской организации, ударил внутренней стороной ступни точно таким же образом, как бьют ногой по мячу, стараясь аккуратно паснуть товарищу по команде. Произошло это в пивном баре на Невском, где секретарь комсомольской организации нашего института появился вместе с народными дружинниками. В тот день мы с Картузом пришли в бар с двумя девушками – студентками финансово-экономического института, находящегося неподалеку.

Пока его спутники говорили с кем-то из администрации заведения, комсомольский секретарь, оглядев зал, подошел к нашему столику.

– Ну что, Стэн, – обратившись ко мне, сказал он, – говорят, ты тут чаще бываешь, чем на лекциях, а?

Честно сказать, никаких симпатий мы друг к другу не испытывали. Фамилия его была Самарин, был он аккуратный парень, весьма средний студент, настроенный на то, чтобы сделать карьеру. Он уже отслужил три года в армии, был старше нас и считался хорошим лыжником. Лицо у него было широкое, нос курносый, глаза неопределенного холодного оттенка, светлые волосы зачесаны назад.

Мне он не нравился как представитель определенного социального типа, да и я, похоже, не нравился ему по той же причине.

– А ты чего здесь делаешь? – спросил я в ответ.

– Мы тут с дружинниками следим за порядком в общественных местах, – ответил он.

– Ну и шел бы к общественному туалету, там работы много будет, – предложил я.

– Ты не хаами, Стэн, мы здесь представители власти, – гордо заявил он.

– Ну и вали отсюда, пока цел, – сказал я, отворачиваясь.

Разговор наш на этом не закончился, и спустя примерно минуту после интенсивного словесного обмена с использованием нецензурных выражений он повернулся и пошел к телефону, а я к словесному добавил упомянутое «оскорбление действием», после чего был задержан и доставлен в отделение. Там я отказался подписывать протокол задержания, и меня отвели в «холодную».

Помимо обычных для КПЗ бродяг, хулиганов и пьяниц в обширной камере находились и мужики, оказавшиеся там по заявлениям своих жен. Те вызывали милицию, жалуясь на избиения и изнасилования со стороны собственных мужей – это был самый простой способ завладеть жилплощадью мужа и отделаться от него. Тот, как рассказал мне дежурный, обычно получал срок, отбывал его, возвращался и обнаруживал, что у него уже нет ни жены, ни квартиры. Несколько таких историй произошло и с милиционерами. Это был мир лимитчиков, строителей, дешевых и пьяных баб, алкоголиков, шпаны и жителей пригородов с их длинными очередями к пивным ларькам, где в зимнее время пиво продавали

подогретым.

Спали мы на голом деревянном полу. Утром, перед поездкой в суд, разговорился я с ментами при КПЗ, простыми ребятами, покинувшими родную деревню или маленький город и пришедшими в милицию после армии. Жили они в общежитиях, некоторые были женаты и надеялись вселиться в ведомственные квартиры. Службу свою в ленинградской милиции они воспринимали как удачу.

Меня повезли в суд, поскольку в отделении милиции решили рассматривать произошедшее не как хулиганство, чего требовал Самарин, а как незначительное нарушение общественного порядка. Случилось это после того, как Картуз связался с моей матерью, а та позвонила начальнику гормилиции. Генерал, разумеется, любил театр и был поклонником ее таланта.

В итоге я предстал перед народным судьей Субботиной А.И., подвергся административному наказанию, получил десять суток, был острижен наголо и вместе с другими нарушителями общественного порядка транспортирован в тюрьму на Шпалерной, откуда вышел после указанного срока, проведенного в камере на четверых и на чулочной фабрике, где я паковал в коробки нитяные изделия. Я запомнил соседей по камере, хряпу, суп из корюшки, кипяток и жестяные кружки, ежедневный шмон перед отъездом на работу и по возвращении в тюрьму, а также истории, рассказанные товарищами по камере.

На следующий же день после возвращения домой оказалось, что у меня начались неприятности в институте. Посадить меня, как этого ему хотелось, Самарин не смог – все-таки я был уроженец Питера, из семьи со связями, а он, хоть и комсомольский секретарь института, уроженец далекого Ярославля, да еще и подвергшийся «оскорблению действием», что в те времена звучало забавно, учитывая, что именно с ним произошло. Но он сумел взять реванш за свое унижение в институте, откуда я в конечном счете был отчислен с правом восстановления на курсе после предъявления положительной характеристики с места работы, где должен был проработать не менее двух лет, или после прохождения службы в армии, куда в итоге я и попал, поскольку мне не хотелось просить отца о содействии.

Я знал, что, когда Андрея призвали в армию, Агата обращалась к моему отцу за помощью, но он не смог предложить ничего лучшего, чем устроить племянника в одну из расположенных под Питером, в Луге, частей, пообещав, что после прохождения «учебки» Андрей станет там художником, будет оформлять «ленинскую комнату», стенды отличников боевой и политической подготовки и руководить покраской выгоревшей травы зеленой краской накануне приезда инспекторов из округа.

Дорожки на территории части посыпались битым кирпи-

чом и в сочетании с зеленой травой и выкрашенными зеленой краской стендами с портретами отличников боевой и политической подготовки под красными знаменами успокаивали инспекторов. «А небо в синий цвет красить придется?» – спросил Андрей у отца и попросил у него книги по военной психиатрии. Судя по всему, книги эти емугодились. Его эскиз оформления «ленинской комнаты» был рассмотрен медицинской комиссией с участием психиатра из военного госпиталя, и вскоре Андрей был досрочно освобожден от необходимости прохождения воинской службы.

Ну а меня отец предупреждал не раз, что не сможет помочь избежать службы в армии, но помочь мне пройти службу в более-менее нормальных условиях он мог. Однако меня никак не привлекала возможность службы при госпитале – думаю, это был предел того, что мог предложить отец, – и потому я решил: будь что будет. К тому же после глупой истории с Самариным мне не хотелось просить отца о помощи.

Давили на меня и мои впечатления от споров отца с контр-адмиралом после бунта на большом противолодочном корабле «Сторожевой» в ноябре 1975 года. Тогда, снявшись с якоря, «Сторожевой» неожиданно вышел из парадного строя кораблей на Даугаве, чудом развернулся в узкой реке и, набирая скорость, двинулся в Рижский залив. Вскоре с корабля понеслись радиogramмы, в которых замполит Саблин объявлял, что берет курс на Ленинград, идет в Неву к стоянке «Авроры» и требует предоставить возможность одному из

членов команды выступить по Центральному телевидению, чтобы сообщить народу, чего добивается экипаж.

Приверженец идеи восстановления чистоты принципов марксизма-ленинизма Саблин следовал словам Бердяева: «Человек может и часто должен жертвовать своей жизнью, но не личностью». Его расстреляли через полгода после подавления мятежа. Отец называл его «новым лейтенантом Шмидтом». Контр-адмирал считал Саблина безумцем. Помню, как, завершая разговор, дед сказал моему отцу: «Как бы то ни было, а делаем мы с вами одно дело».

3

Итак, институт мне пришлось оставить, и я оказался в армии, где меня часто спрашивали, не латыш ли я, адресуясь, очевидно, к таившемуся в глубинах массового сознания образу латышских стрелков. В первый раз случилось это во время прохождения призывной комиссии.

– Так, Стэн Николай, латыш, что ли? – спросил майор в военкомате, просматривая мою папку.

– Нет, я русский, – ответил я.

– Ладно, неважно, разряд по плаванию – это хорошо, пойдешь во внутренние войска, – заключил он.

Несколько раз повторил я в уме наш диалог, и вскоре мне стало ясно, что говорить с армейскими людьми надо коротко, просто и лишь по необходимости. И от этого будет зави-

сеть, как меня будут воспринимать и как станут ко мне относиться. Мне предстояло выработать свою линию поведения, как в свое время Андрею, но тот «косил», а я на это был не способен. Следовательно, мне необходимо было играть роль «тупого латыша»: переспрашивать и уточнять по возможности, так, чтобы ко мне обращались в последнюю очередь, или же исполнять просто и точно обращенные ко мне команды; никому не рассказывать о своей семье, отец и мать – служащие, живем в коммуналке, соседка Тася, да еще дед с бабушкой; учился в педвузе, отчислили за драку. Внешние данные и естественный темперамент позволяли мне изображать медлительного парня с не очень развитым интеллектом. Услышав как-то относившиеся ко мне слова старшины «Ряху-то наел, а с мозгами не очень», я понял, что нахожусь на верном пути.

4

После окончания занятий в учебной части под Ленинградом я провел полгода в конвойном подразделении, участвовал в перевозке заключенных и посмотрелся всякого. Затем меня перевели на службу в караульный взвод стрелков в лагере неподалеку от Камышлова, на Урале, в ста пятидесяти километрах от Свердловска.

Выполняли мы обычные задачи: конвоировали заключенных на работу, охраняли лагерь по периметру, сопровож-

дали эшелоны и ловили беглецов.

В первое же увольнение я отправился в город на попутке. День был летний, но нежаркий. Побродив по пыльному деревянному городу, я зашел в пивную у городских бань, съел тарелку серых пельменей, выпил жидкого пива, вышел на улицу, купил сливочное мороженое в вафельном стаканчике и отправился от нечего делать в музей.

Экскурсовод, симпатичная девушка с чуть вздернутым носом и карими, слегка раскосыми глазами, одетая как типичная учительница – светлая блузка, темная юбка, туфли на низком каблуке, – обрадовалась моему появлению (согласно служебной инструкции, группа должна насчитывать не менее пяти человек) и повела посетителей на экскурсию. Звали ее Татьяна, и из ее рассказа я узнал, что начинался Камышлов как острог. Было это еще до Петра I. В середине восемнадцатого века через выросшую у острога слободу прошел Сибирский тракт, а в начале двадцатого века Камышлов был купеческим городом с деревянными строениями, каменным Покровским собором, зданием мужской гимназии, городскими банями, резиденцией градоначальника и полицейским управлением. В ту пору в городе насчитывалось более двух сотен лавок, где торговали хлебом из Зауралья и степей Западной Сибири.

Слушали Татьяну и две пары, отдохавшие в Обухове – бальнеологическом курорте, который располагался в сосно-

вой роще.

– Ну что, служишь? – обратился ко мне стоявший рядом мужчина.

– Служу, – ответил я, – вот приехал город посмотреть. А вы местные?

– Да нет, в санатории отдыхаем, – сказал мужчина.

Приехали они в Камышлов, чтобы подкупить съестных припасов и спиртного. Припасы, привезенные из дому в санаторий, уже закончились.

– Воздух там, понимаешь, в Обухове, хороший, кормят неплохо, но вот выпить и закусить нечего, – объяснил мне коротко стриженный загорелый мужик средних лет в сером костюме.

Жена его одета была тоже во что-то серо-зеленое, пошитое, видимо, у портнихи, на голове у нее была зеленая фетровая шляпка с пером, губы были ярко накрашены. Она чем-то походила на своего мужа, выглядела его ровесницей, но взгляд его татарских с прищуром глаз был поживее. Все то время, что Татьяна рассказывала нам об истории города, женщина в шляпке не переставала бросать по сторонам взгляды из-под темных густых бровей.

Между тем мужчина рассказал мне, что они из Ирбита, где он руководит мясокомбинатом, и что приехали с женой лечить остеохондроз. Мне показалось, что несмотря на ранний час он уже изрядно выпил.

– А их, – он мотнул головой в сторону другой пары, кото-

рая была одета поскромней, – мы с собой взяли, чтобы не скучать, они у меня на комбинате работают, технологи, – пояснил мужчина. – Комбинат у нас классный, еще с войны для правительства колбасы производим – и полукопченые, и сырокопченые, и сыровяленые. Есть у нас и отдельный сорт, «вюртембергский» называется, пробовал? Добавляем конины, ну и коньяка, само собой. – Он вытащил из кармана пиджака серебряную фляжку и сделал глоток. Тут только я понял, что аромат коньяка мне не почудился.

– Хочешь? – он протягивал фляжку.

– Мне не положено, – сказал я на всякий случай.

Сунув фляжку в карман, он хмыкнул:

– Молодец, – и продолжал рассказывать: – Дом у меня деревянный, двухэтажный, три дочери, малинник есть, в общем, полная чаша. Да, еще корова имеется, Сиренью зовут. Понял? Вот приезжай в Ирбит, я тебе все покажу, – пообещал он мне уходя.

Жена тащила его за локоть, а пара технологов, мужчина и женщина, последовали за ними, внимательно прислушиваясь к репликам его жены.

– Ну а культурная жизнь? Как с ней обстоят дела? – спросил я у Татьяны.

– Есть у нас кинотеатры и клуб. Ближайший театр в Ирбите, с середины девятнадцатого века, – сказала Татьяна, – у них еще и ярмарка знаменитая, о ней и Герцен писал, и Салтыков-Щедрин. А в Свердловске – я там пединститут закон-

чила, – так там театры не хуже, чем в Москве и Ленинграде.

– И я в пединституте учился, в Питере, – признался я.

– А сюда как попали? – спросила Татьяна.

– Пришлось уйти в академический, – сказал я. – Вот так меня и загребли. Ну, мне пора идти, грузовик пропущу. Так вы здесь когда будете?

– Я здесь бываю по выходным, – ответила она, – а так почти весь день в школе, а потом домой.

– Ну, я в следующий раз зайду. Как только увольнение выпишут. Вы не против? – спросил я.

– Так это ж музей, – сказала она, – приходите, когда захотите, – и пожала плечами.

Позднее я узнал, что она преподает в школе историю, живет с родителями и сыном, был у нее когда-то муж, который выпивал и все не мог отыскать себе работу по душе, а потом уехал куда-то на заработки и исчез.

5

На второй год службы случилось мне застрелить заключенного. Было это зимой, в конце февраля, под вечер, темнело. Он набросил одеяло на проволоку, перелез через «колючку» и скатился вниз к реке по крутому заснеженному склону. Неширокая река замерзла, была подо льдом, другой берег пологий, беглец почти уже добежал до середины реки, а на другой стороне ее подступал к берегу лес, сосны, ели,

словом – тайга. Его заметили, по нему стреляли, но вышло так, что я был в самой удобной для стрельбы по нему позиции – на вышке.

– Стреляй, Стэн, стреляй! – услышал я команду старшины.

Выполняя приказ, я прицелился и выстрелил. Беглец дернулся и упал, по снегу потекла кровь.

Я думал, что ранил его, но оказалось – убил. Потом мне рассказали, что убитый был совсем молодым парнем, а преступником неопытным. Попал в лагерь за драку, в которой по глупости убил человека. За три дня до побега получил он письмо от своей подружки, которая обещала ждать его возвращения из мест заключения, а теперь писала, что выходит замуж за его товарища. Этим, очевидно, и объяснялось его решение бежать. Побег свой он никак не продумал и никак к нему не готовился. Что-то, по-видимому, на него накатило, какое-то ощущение того, что не бежать нельзя и что побег ему удастся... А может, он просто был на взводе и решил рискнуть. Я знал по себе: бывают такие моменты, когда действуешь словно в бреду... Обо всем этом думал я уже позднее, по дороге домой.

– Тебя, Стэн, надо поощрить, – сказал начальник по режиму. – Мы тебя в партию примем, я сам тебе рекомендацию дам, а вторую даст начальник караульного взвода.

Мое мнение его совершенно не интересовало.

Меня наградили часами и десятидневным отпуском, который я использовал, чтобы съездить домой. В плацкартном вагоне я оказался среди людей из той же среды, к которой принадлежал убитый мною человек. Поездка запомнилась мне надолго, отчего-то даже сильнее, чем все связанное с лагерем. День и ночь, проведенные в поезде, несущемся по рельсам в сторону Питера сквозь снег и холод, многое объяснили мне в поведении дотоле не очень понятных товарищей, сослуживцев, выходцев из деревень и малых городов России. Вокруг меня были именно те люди, в которых мои нынешние сослуживцы превращались, вернувшись со службы. Зачем все они ехали в Ленинград? Ведь их, пожалуй, больше тянуло в места, где они выросли. Такие города, как Москва или Ленинград, представлялись им чужими и враждебными. И все же они зачем-то стремились туда.

6

Отец прореагировал на случившееся вполне философски, то есть вполне предсказуемым образом.

– Собственно, служба во внутренних войсках и означает лицензию на убийство, но не врага, а гражданина, коль скоро ты становишься частью карательной системы, – сказал он. – А застрелил ты его, выполняя приказ и свой долг, так что тебе нечего стыдиться.

Собственно, так всегда и было с отцом, я и не ожидал

от него ничего другого, именно в таком стиле рассуждал он обычно. А вот моя мать не пожелала вникать в детали отцовских рассуждений и обратилась к своему отцу. Она полагала, что меня нужно куда-то перевести из этого «проклятого места», как она называла ИТЛ⁵, в караульной команде которого я служил.

– Это твой внук, – заявила она деду, – и если ты любишь его сестру, то должен любить и его.

Она, пожалуй, не учитывала, что контр-адмирал Толли-Толле обычно любил людей вопреки, более того, ему нравилось любить вопреки требованиям здравого смысла.

– Почему мой сын должен кого-то убивать? – спросила она. – Почему он не может служить, как все остальные солдаты?

– Что ты имеешь в виду? – спросил у нее контр-адмирал. – Он должен продолжать служить в том же роде войск, куда его призвали. Эти войска подчиняются МВД. То есть они охраняют общественный порядок, или кого-нибудь, или, наконец, что-нибудь.

– Что-нибудь, но не заключенных же! – воскликнула моя мать. – В конце концов, это твой внук, достаточно того, что уже сделал ты, и того, что сделали с тобою...

– Ну что ж, – сказал дед смягчившись, – может быть, и стоит похлопотать о нем, ведь служит-то он хорошо...

⁵ Исправительно-трудовой лагерь.

Десять дней прошли, я вернулся в Камышлов, доехал до лагеря. Отрапортовал о прибытии и лег на свою койку в казарме. К вечеру там собрался народ, я открыл чемодан и достал несколько бутылок водки, «фауст-патроны» с портвейном, армянское вино, докторскую колбасу, консервы «Частик в томатном соусе» и желтую коробку с чаем черным байховым – все это я привез из Питера.

– Ну, ты, Стэн, человек, хоть и прибалт, – произнес кто-то.

Я обернулся.

– Да ты не обижайся, он завидует, – сказал мой сменщик по дежурству на вышке, – он сам домой хотел съездить, но промазал, не попал.

– Ладно, – согласился я, – на этот раз промолчу, но ведь могу и ответить.

Назавтра мне предстояло идти в караул, все начиналось сначала. Татьяне о своем отъезде я не говорил, сказал, что был на учениях в Еланске.

В конце концов усилия деда привели к тому, что я начал

охранять огромных размеров военно-морской объект в Питере, на Охте. Там же, на Большеохтинском проспекте, находились и казармы. Вместе с таким же, как я, караульным и старшиной мы, следуя инструкциям, регулярно обходили сей объект по вычерченному суриком на цементе периметру. Использование оружия предусматривалось как средство пресечения несанкционированных попыток проникновения посторонних вглубь периметра или объекта.

Все это привело меня к размышлениям о природе границ и их охране. Мое воззрение состояло в том, что тюрьма, или торма, что по-татарски означает темница, определяется наличием границы, а воля есть свет вне этой темницы, безграничная обитель света и вообще весь свет. «Тюрьма и тьма, свет и воля» – так я это понимаю, такая вот связка. К ней я пришел, формулируя свою собственную жизненную философию, ибо философия, связанная с наукой, никак меня не интересовала, а философия какого-то религиозного извода или направления казалась мне всего лишь попыткой защиты и ухода от не устраивавшей нас реальности. Все это я понял еще в лагере, но не сразу, а постепенно; началось это как-то раз, когда, стоя на вышке, я разглядывал пасмурный заснеженный горизонт, а окончательно понял, когда застрелил пытавшегося бежать заключенного.

Иногда я думаю: кто знает, может быть, именно это происшествие и заставило меня считать себя русским. Казалось, что никакого особенного впечатления, надолго запавшего в

душу, эпизод с побегом и смертью заключенного на меня не произвел, формула «тюрьма и тьма, воля и свет» представлялась мне гораздо более важной. Со временем стал я вспоминать о гибели заключенного как об эпизоде чьей-то чужой, но хорошо знакомой мне биографии. Размышлять об этом продолжал я и после армии и даже пережил сильное увлечение дзэн-буддизмом.

9

Естественно, я вступил в партию – не мог же я спорить с лагерным парткомом и своим начальством. И кроме того, когда я приехал в отпуск после того как стрелял в заключенного, отец сказал мне:

– Чем больше в партии будет таких людей, как ты, тем скорее она изменится, перерастет в нечто иное, и вот тогда все и начнет меняться. Это как с людьми: если бы никто не умирал, то не было бы и перемен. Так же и с составом этой партии: чем больше будет в ней людей порядочных, тем больше шансов на перемены.

Мой отец никогда не был членом партии и никогда не пытался вступить в нее.

– Меня, к счастью, от членства в партии ограждали разные обстоятельства: фамилия, анкета с матерью-еврейкой и тому подобное. Никто и никогда не предлагал мне всерьез подумать о вступлении, хотя я часто слышал: «Эх, был бы ты чле-

ном партии, все пошло бы быстрее...» Но, честно говоря, меня в партию никогда не тянуло. Так что, наверное, что-то уже изменилось, – продолжал развивать свою мысль отец, – если человеку с твоей фамилией дают рекомендацию для вступления в этот «передовой отряд нашего общества», – процитировал он известный газетный штамп.

– Но это же не просто так, – сказал я в ответ, – это потому, что я человека застрелил.

– Не просто человека, а заключенного при попытке к бегству, и застрелил, выполняя приказ непосредственного начальника. Это армейская дисциплина, тут никуда не денешься, – ответил он, – ты принимал присягу и обязан ее выполнять. *À la guerre comme à la guerre.* На войне как на войне, Nicolas.

– Но ведь сейчас мирное время, – возразил я просто оттого, что мне хотелось возразить.

– Это иллюзия, – сказал отец, – война никогда не кончается, ее просто меньше или больше.

– Так что же мне делать, как ты думаешь? – спросил я у него.

– В конце концов, ты можешь вступить в партию в армии, а по окончании службы забыть об этом. Достаточно потерять партбилет, не платить членские взносы, – усмехнулся отец, – или просто не встать на учет...

– А если мне это как-то поможет после армии? – спросил я.

– В каком смысле?

– Ну, в смысле карьеры, ведь, когда я вернусь, мне где-то придется учиться, а потом работать, – предположил я.

– Отрадно слышать, – сказал отец, – ты начинаешь задумываться о будущем. Ну что ж, вероятно и поможет, даже наверняка, но и обязательства какие-то наложит на тебя. Тебе придется ходить на собрания и голосовать за что-то. Похоже, ты будешь первым членом партии в нашей семье.

Тут я вспомнил рассказ Агаты о его первой жене, которая возвращалась с партийных собраний навеселе.

– Что ж, если надо, так проголосуем, одобрим, воздержимся, ну а если уж что-то совсем людоедское – проголосую против, и меня отовсюду выгонят, но ведь не посадят, верно? – с надеждой спросил я.

– Будем надеяться, что не посадят, – усмехнулся отец, – в крайнем случае я докажу, что ты психически болен. Ты ведь и вправду не совсем обычный парень. А кстати, ты сам-то сравнивал себя с товарищами по службе? – поинтересовался он.

– Да, они какие-то другие, – согласился я. – Есть, правда, неплохие ребята, но вообще-то живут они как во сне. Вспоминают свои дома, места, где жили, и больше ничего. Впрочем, это, наверное, нормально... То есть живут по инерции, как будто все так и должно быть, просто и без сомнений.

– К сожалению, это не только о них можно сказать, – заметил отец, вновь усмехнувшись. – Ну, а ты?

– Мне кажется, я там теряю какие-то ориентиры. Все без края, все куда-то тянется, уходит за горизонт. И я сам вроде как потерянный, но стараюсь этого не показывать. Прикидываюсь тупым. Но на Урале я бы жить не хотел, да и вообще нигде кроме Питера мне жить не хочется.

– Ну что ж, – сказал отец, – не ты первый, не ты и последний.

Говорили мы с ним в том же кабинете, куда я когда-то пришел с мучившим меня вопросом о «живом труп».

10

Через несколько месяцев после возвращения в Ленинград в жизни моей наметились перемены. В один из выходных, получив увольнительную, я приехал домой на Петроградскую. Родителей дома не было, пообедал я с дедом и бабкой – оба были в прекрасном расположении духа, придя наконец к совместному решению об устройстве своей жизни после выхода деда на пенсию. Найденное решение состояло в том, что дачу в Комарове следовало продать, а взамен купить домик в Майори, одном из самых известных и популярных мест на Рижском взморье, где при желании можно жить и зимой.

После обеда дед обратился ко мне.

– Послушай, Николай, – сказал он сурово, – ты ведь служишь во внутренних войсках, почему бы тебе не пойти на

какие-нибудь курсы? Там у вас лучших солдат направляют на ускоренные курсы для будущих сотрудников МВД с присвоением младшего офицерского звания. Мне об этом рассказал один из тех людей, к кому я обращался по поводу твоего перевода в наш военный округ. Пойди поучись. Иначе совсем отупеешь. Идти в милицию после окончания срока службы тебя никто заставить не сможет, но пойти на курсы и чему-то научиться, по-моему, стоит.

Вскоре я был направлен на курсы, где сотрудники милиции и прокуратуры обучали нас, солдат-срочников, отличников боевой и политической подготовки, основам криминалистики и сыскного дела. Учеба на курсах давалась мне легко, какие-то навыки со времен службы на Урале мне помогали, и я числился одним из лучших студентов.

Через месяц по предложению одного из наших преподавателей, подполковника Майгельдинова, тощего и слегка сутулого татарина с темным и мятым лицом, всегда появлявшегося на занятиях в таком же темном костюме и черной сорочке, я принял участие в нескольких милицейских операциях по освобождению заложников и аресту вымогателей. Подобная работа меня никак не увлекала, хотя, как говорил все тот же Шамиль Гинеевич, из меня мог бы выйти неплохой оперативный работник. Наставник наш обычно был подшофе и слегка шмыгал носом, поглядывая из стороны в сторону и переминаясь с ноги на ногу. У него было замечатель-

но развито «чувство улицы» – так называл он способность к ориентированию и безошибочному выходу к интересующему нас месту, быстрая реакция и продиктованное каким-то инстинктом умение ощутить, можно ли извлечь выгоду из той или иной ситуации.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.